

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА



Андрей Лазарчук Андрей Мартынов
Лев Прозоров Владимир Свержин

Александр Тюрин

Священная война (сборник)

«Точинов Виктор»

2008

Тюрин А. В.

Священная война (сборник) / А. В. Тюрин — «Точинов Виктор»,
2008

Как изменилась бы история России, увенчался восстание декабристов успехом? А если бы фюрер победил во Второй мировой? А если бы в 1945 году Советский Союз вступил в войну против США? Звезды отечественной фантастики – Андрей Мартьянов, Владимир Сержин, Андрей Лазарчук, Лев Вершинин, Александр Тюрин и др. – экспериментируют с военной историей, переписывая прошлое заново.

© Тюрин А. В., 2008

© Точинов Виктор, 2008

Содержание

Владислав Гончаров	5
Ирина Андронати, Андрей Лазарчук	7
Александр Тюрин	11
1	11
2	18
3	22
4	26
5	34
6	40
7	43
Лев Вершинин	44
От автора	45
Пролог: 1826 год, июль	46
1. Генерал	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Лазарчук, И. Андронати, А. Мартьянов, В. Свержин, Л. Вершинин, А. Тюрин, П. Николаев, Л. Прозоров, В.Шарапов «Священная война» (Сборник)

Владислав Гончаров Зеркало для империи (вместо предисловия)

«Человек рождается без зеркала в руках и узнает себя, глядясь, как в зеркало, в другого человека», – сказал великий немецкий философ. Но страна, народ – как человек; чтобы понять свой смысл, им тоже надо отыскать свое зеркало в другом.

Когда-то для России таким зеркалом была Германия, затем – Англия, а едва ли не с позапрошлого века им служит Америка, Северо-Американские Соединенные Штаты. Даже осуждая или отвергая американские ценности, мы всегда ориентируемся на них. Как говорил министр в поэме А. К. Толстого «Сон Попова»:

Искать себе не будем идеала
И основных общественных начал
В Америке – Америка отстала,
Там собственность царит и капитал.

И в то же время именно Америка долгое время была (не только для России) символом и олицетворением свободы. *«Одно лишь слово, и вы – матрос; море ничье, мир огромен, команда надежна! а Штаты Северо-Американские конституционеров не выдают...»* (Лев Вершинин, «Первый год Республики»).

Более того, мнилось, что России для достижения успеха надо всего лишь стать такой, как Америка. Если же Америка может быть только одна – значит, надо превратиться в нее. Как в притче Андрея Лазарчука и Ирины Андронати, «Заяц белый, куда бегал?..»

«А вообще – решили разворачивать здесь, на Гаваях, в Жемчужной Бухте, огромную базу, поболее Артура. И флот будет стоять, и мы, дальняя авиация. Про новые «Лебеди» Сикорского слыхали?»

Главный же враг был совсем другой. Еще один отблеск зеркала – и вот в повести Александра Тюрин «Вологда-1612» мы видим, как орды «европейцев» предают огню и мечу этот древний русский город, ляхи грабят алтари, черкасы волокут пленников, британец подсчитывает барыш, а агенты Святой Инквизиции рыщут в поисках тайного знания. И все это, естественно, не без красивых слов. *«I have right to call my barrister, – без боязни сказал долговязый чужеземец и добавил, сильно коверкая слова. – Ктоу с мячом к уам придет, от мяча и погибнет. Я пришьел со свободой».*

Однако же причудливо тасуется колода. Небольшой поворот зеркала, маленький сдвиг реальности – и те же самые события приводят к совершенно иному исходу. *«Сама она десять лет назад взволнованно читала в газетах о подвигах российских летчиков-добровольцев, заставивших надменных бриттов, позабыв спесь, облачиться из ярко-красных мундиров в грязно-бурое хаки. Да устоял ли б без них Трансвааль? Не назывался ли бы теперь Кипт-штадт каким-нибудь Кейптауном?»* (Лев Прозоров, «Первый император»).

Но ведь были времена, когда Америка и Россия являлись геополитическими союзниками, когда американский адмирал Джон Пол Джонс служил в русском флоте, а блестящий гвардейский полковник Иван Васильевич Турчанинов совершал подвиги на полях сражений междоусобной войны Севера с Югом.

Однако игра на мировой шахматной доске жестока, не победишь ты – победят тебя. А у Истории пощады просить бесполезно. *«Победа конфедератов была предопределена. Здесь сказалась высокая идейная сплоченность южан и значительно лучшая военная подготовка, а также – бесперебойное снабжение, организованное Англией и Францией... После убедительной победы южан Англия получила широкий доступ к американским заводам, материальным ресурсам и рынкам сбыта».* (Владимир Сержин, «Образ гордой дамы»).

Если мы не хотим оказаться *такой* Америкой – нам надо быть сильными.

Подумайте, граф, толково:
Отступишь всего на шаг —
И станет русское слово
Бессильной грудой бумаг.

Осыпется слава пылью,
Держава сгорит в огне.
И Ригу сдадим, и Вильно,
И Ревель уйдет чухне!

Кайсаки линию спалят,
Чеченцы Тифлис займут.
Европа, впрочем, похвалит.
Британцы, впрочем, поймут...¹

Но нужна ли нам такая история и такое будущее – в котором Россия становится центром цивилизации, распространяя свою культуру и свое могущество, политическое и экономическое, на все остальные континенты?

Россия, российская культура всегда была «литературоцентрична». Литература, художественный образ и художественное слово, всегда играли в нашей жизни и нашем мировосприятии решающую роль. Возможно, это мешало нам по-настоящему уметь делать дело, поэтому мы всегда мечтали, чтобы наше слово – любимое, лелеемое слово – наконец-то превратилось в дело!

Но если это случится – останемся ли мы самими собой? Нужен ли нам мир, в котором Пушкин перестал быть поэтом и стал Джорджем Вашингтоном, как в притче Андрея Лазарчука и Ирины Андронати:

*«Наверное, какие-то негодяи мутят ваш бедный разум. «Пушкин – нет! Китс – да!»
Надо же до такого додуматься! Чем был бы наш мир без Пушкина?..»*

Хотелось бы нам жить в таком мире?

¹ Стихи Льва Вершинина.

Ирина Андронати, Андрей Лазарчук

Заяц белый, куда бегал...

– Елдыть тя, – горестно покачал головой Пафнутий Губин.

Зима, считай, только началась, а зайцев по лесам-долам было всего ничего, да и те тощие, быдлостые, что твоя саранча. Он вынул зверька из петли, бросил в торбу. Покряхтел, наново застораживая силок, потом выпрямился и побежал дальше. Морозец хватал за щеки. Издали, от дороги, несясь перезвон поддужного колокольца. Тоись, барин, с досадой подумал Пафнутий. Не к добру, ох, не к добру...

* * *

Пушкин прижимался горячим лбом к ледяному стеклу. Под полозьями возка повизгивал убитый до льда лежалый снег, возок покидывало в стороны – кони бежали резво. В груди стыло отчаяние. Еще никогда ему не было так томно и так безнадежно грустно. Крикнуть сейчас Ивану: эй, поворачивай! – да где там...

В слабом свете изыбшей луны проплыл мимо тихий призрак мужика в тулупчике и заячьей шапке. Завтра бы, подумал Пушкин. Завтра бы с ружьишком, с Разорваем и Покатаем, на лыжах, хрусткий наст, хрусткий воздух, а после... Добытых зайцев отдать дворне, пусть радуются и благодарят.

Он отслонился от стекла и тихо задумался. Потом представил глаза Рылеева. И Кюхли. Они ничего плохого не скажут, но как они будут на него смотреть...

Как на зайца.

Пушкин поправил полость, уселся поудобнее, протер успевшее подернуться узором стекло. Великие дела лежали впереди.

* * *

Две картечины так и застряли у него в бедре немного выше колена, он так и хромал до конца жизни, и когда его, совсем уже бессильного, старшие внуки выносили в носилках к океану, Пушкин долго молча слушал рокот огромных волн, всматривался в фиолетово-зеленые тучи у западного горизонта и чуть слышно что-то шептал.

* * *

– ...а потом поднялся дедушка. Сам стоять не мог, его держали под руки. И начал говорить. Царь сначала и слушать не хотел, но дедушку разве уймешь! Да и любил его царь, только недоумен был сильно и всю повторял: «Саша, Саша, как же ты мог?» А потом вообще заплакал и сказал: «Есть у меня земля за Сибирью, за морем, отправляйтесь туда и творите что вздумается, хоть по Руссо, хоть по Дидро, только отчеты присылайте и подати платите». И посадили наших на корабли...

* * *

– Правей, правей наводи! – кричал так, что и сквозь канонаду широко разносилось, босой артиллерийский поручик. – Вон она, за сикоморой! Да куда ты смотришь!..

Он оттолкнул канонира и, схватив оружие за хобот, одним движением развернул.

– Пали!

Пушка выпалила; бомба взорвала черный фонтан земли и дыма.

– Не по нраву каша! – захохотал поручик. – Ишь, забежали, чертовы янки...

– Кто таков? – спросил Нахимов майора Панина.

– Граф Толстой, ваше сиятельство. Воюет – отважно!

– А почему не по форме одет?

– Отдыхал, а тут вылазка...

– Толстой, вы сказали? Это не тот, что «Очерки форта Росс» в «Отечественных записках» пропечатывает?

– Он самый.

– После дела, Павел Васильевич, направьте-ка его ко мне в штаб...

* * *

Скобелев придержал кобылу. Ехавший стремя в стремя с ним атаман Белый Башлык вынул из рта длинную трубку и чубуком показал на приближающихся всадников.

– Испано, – коротко сказал он.

Наконец-то, подумал Скобелев. С испанцами он планировал соединиться еще неделю назад, но те застряли на переправах через плевую речушку Рио-Гранде (дикси сопротивлялись отчаянно), а с наличными малыми силами – двумя дивизиями стрелков да двумя же казачьими индейскими полками – выступить против старика Ли ни к чему, только людей положишь без пользы.

Он посмотрел на атамана. Семьдесят лет атаману – а по лицу и не скажешь: что из мореного ясеня вырезано, горбатый нос и тонкие неподвижные губы. Глаза, как у орла. И только волосы белые – такие же, как перья на голове. И как вершины гор позади...

Всадники приближались. Теперь и сам Скобелев видел усталые обветренные лица, повязки на лбах, пыльные плюмажи на шляпах. Но всадники сидели гордо и прямо. В них сквозила уверенность и победа.

– Ну вот, – Скобелев похлопал кобылу по шее. – Считай, Доротея, что мы уже в Канзасе...

* * *

По случаю скорого, чуть ли не завтра, приезда цесаревича Николая Александровича полы в трактире «Пузатый Гризли» были не только подметены, но и натерты воском, а окна чисто вымыты. Братья взяли столик у окна, заказали щи из бизоньей лопатки, запеченного шеда, пирог с брусникой – и большую бутылку красного калифорнийского от Голицына. Из окна видна была станция, памятник графу Резанову, хвост строительного поезда. Рабочие в оленьих дохах сидели у вагона, пили что-то из котла, зачерпывая кружками.

– А я, брат, женюсь, – сказал старший, задумчиво глядя куда-то в угол. – Вот замкнем стык, первые поезда пропустим, возьму я отпуск месяца на два – а компания-то мне полгода должна, все упирались, куда мы без вас, Александр Ильич! – нет, шалишь, хватит. Только маме пока не говори, я сам. О-кей? – он улыбнулся, сильно показав зубы. – Похож я становлюсь на янки?

– До отвращения. Кто она?

– Ты не поверишь. Француженка, из Парижа. Вдова одного нашего управляющего... да я тебе, кажется, рассказывал?

– Нет, – покачал головой младший. – Ну, еще расскажешь. Весь день впереди. А у меня тоже новость. Надумал я со службы уходить...

– Да ты что?

– Да, так вот. Хочу вкусить вольные хлеба.

– Это то, о чем я думаю? Клондайк?

Младший сдержанно кивнул. Потом заговорил, горячась:

– Я ведь, Саша, думал: служить закону – значит, служить людям! Ан нет! Тебя нанимают, чтобы ты выгораживал негодяя, может быть, даже убийцу. И ты знаешь прекрасно, что он негодяй, но все равно выгораживаешь, потому что так принято, так положено! А!.. – он налил вина себе, налил брату, поднял бокал. – И не вздумай меня отговаривать!

– Да я и не собираюсь... – старший смотрел на него, наклонив голову, улыбался. – Эх, Володька. Люблю я тебя!..

* * *

– Пап! Ты меня слышишь? Какие-то помехи на линии! Я тебе из Вены звоню! Помнишь давешний разговор про художников для проекта Владизапада – столицу переносить? Так вот, я их, похоже, нашел! Тут их целая колония! Молодые, сумасшедшие и гениальные! Города будущего рисуют! Там с ними Татлин сейчас – они друг от друга в восторге! Я соберу эскизы, привезу! Особенно один парень – Шпеев его фамилия, запомни! Он нам в самый раз будет, вот увидишь!

* * *

– Чкалов! Валерий Палыч! Господин полковник!

Голос показался знаком. Чкалов остановился, оглянулся. Его догонял, размахивая палкой, сухонький старичок в светлом полотняном костюме и сандалиях на босу ногу.

– Вот не чаял встретить!.. Какими судьбами в наших широтах?

Чкалов вглядывался и не узнавал. Потом щелкнуло.

– Сергей Исаевич!?. Не может быть!

– Может, Валера! Еще как может!

Чкалов выпрямился, щелкнул каблуками, бросил руку к фуражке.

– Господин инструктор, курсант Чкалов к выполнению задания готов!

– А я в тебе никогда и не сомневался...

Уточкин был ему по плечо; сейчас, остановившись резко, Сергей Исаевич не мог отдышаться. Чкалов подхватил старого учителя под руку, повел. Они сели на скамейку под навесом – оказалось, это кафетерия. Им тут же подкатили столик с лимонадами и пирожными. Чкалов спросил коньяка – принесли коньяк.

– ...мне доктора прописали теплый климат, я и подумал – теплее, чем здесь, уже не найти. Собрал чемоданишко – на пакетбот – и сюда. И вот уже живу лишних – сколько? – лет двадцать. Благодать. А ты-то, ты-то?

– Ну, про то, что в газетах прописано, умалчиваю, – махнул рукой Чкалов. – А вообще – решили разворачивать здесь, на Гаваях, в Жемчужной Бухте, огромную базу, поболее Артура. И флот будет стоять, и мы, дальняя авиация. Про новые «Лебеди» Сикорского слышали?

– Шестимоторные?

– Они самые. Ох, хороши! На что я истребители люблю, но от «Лебедей» в полном восторге – просто поют в небе... Весь Тихий океан наш будет.

– Это да...

Уточкин смотрел куда-то вдаль, в далекое небо, почти не слыша собеседника. Потом спросил:

- Ты же здесь с аэропланом небось?
- Конечно.
- Прокати меня...

* * *

Пузырек с чернилами ударился о стекло, разбился. Образовалась черная клякса в виде треухого зайца. Стекло, конечно, выдержало...

Посол Вознесенский подошел к окну. Толпа уже поредела, и некоторые самые срамные лозунги исчезли. Полицейские в широкополых шляпах лениво оттесняли студентов от ограды.

Студентов можно понять – кому охота изучать на иностранном языке целые дисциплины? Но департамент образования действует в их же интересах – потому что куда потом из всех этих Гарвардов да Принстонов выпускники стремятся? Правильно, на Запад. А на Западе говорят по-русски. И вам, ребята, без свободного владения языком – труба. Но поймете вы это уже потом... а сейчас, наверное, какие-то негодяи мутят ваш бедный разум. «Пушкин – нет! Китс – да!» Надо же до такого додуматься! Чем был бы наш мир без Пушкина?..

Он вернулся за стол, вздохнул, открыл блокнот. Надо было писать докладную записку в МИД, но рука сама вывела: «Вместо флейты поднимем фляги...»

Александр Тюрин Вологда-1612

«22 сентября, за час до восхождения солнца, разорители православной веры пришли на Вологду безвестно изгоном, город взяли, людей всяких повысекли, церкви Божии поругали, город и посады выжгли до основания».

Вологодский архиепископ Сильвестр о взятии Вологды польско-литовскими отрядами в 1612 году (См. Соловьев «История России с древнейших времен», том 8)

1

Четырехликий не появлял себя ночью. Токмо случался быть при свете солнца, как и в день, что предшествовал гибели вологодской.

Максим колот дрова, а Четырехликий держался у ельника, позади.

Не впервые было его явление и никогда еще вреда не наносило.

Не имел Четырехликий формы человеческой или звериной, напоминая отблески солнечных лучей на снежинках ино сосульках. А если приглядеться, то был схож с теми созданиями ангельскими, коих описывал Иезекииль-пророк. Семь или девять окружностей, из них четыре суть подобия ликов человеческих, но с чертами неясными. Остальные как колеса. И было невнятно, Четырехликий существо единое или же целый сонм чудных тварей.

Когда Максим приносил добычу от промысла лесного, белку или птицу со свернутой головой, Четырехликий, казалось, приближался немного и яснил.

А в те часы, что являлся Четырехликий, начиналось слышаться Максиму, как звенит сам воздух, коим дышишь, словно тот состоит из незримых глазу колокольцев. Из звона рождался Голос. Доносился оный из-под кровли, из-за печки и из кадки, и казалось, говорил на иных дивных языках. А от Голоса занималось Дрожание, из-за чего весь нехитрый скарб в избенке трепетал трепетанием мелким. Бывало, что и лучина выпадала из светца, а вода в кадushке покрывалась зыбью. Случалось и Касание, словно притрагивались к коже пузыри мыльные. Иногда чудилось приближение теплой, будто женской, руки к его шее ино щеке. Поскольку обладало такое Касание приятностью, то Максим страшился дьявольского соблазна.

Однако не торопился Максим изгнать Четырехликого молитвой громкой или крестным знаменем. Нечистый он дух или же ангел небесный – это мирскому человеку не ведомо.

Если нечистый, то запросто осатанеет и лютовать начнет. А бороться с бесом лютым только старцу божьему по силам. Келья же Савватия-инока в какой-то сотне шагов отсюда.

Когда вечерело, то будто бы удалялся Четырехликий к жилью старца...

В ночь, что предшествовала гибели вологодской, Максим изрядно замочил бороду в хмельной бузе – той, что снабдили его проезжие молодцы на прошедшей седмице. Верно, перепутали с послушником старца Савватия, а Максим отказываться не стал. Келья-то Савватиева стояла выше по склону холма и толико зимой была приметна с лесной тропы – по струйке дыма...

Но сон все равно беспокойный выдался Максиму. Снилось давнее ратоборство против свейских немцев у Наровы, когда нашим воинством начальствовал князь славный Димитрий Хворостинин. Как из дыма пищального вышел воин чужой, огромный, будто валун, с мечом двуручным в руках. Идет немчур, людей словно траву косит. И во сне Максим понял, что не быть ему больше в живых – бежать позорно, а остаться гибельно.

Вот вздымается немцев меч и опускается, неотвратимо, как орудие казни. И ломает клинок Максимов, словно хворостину.

Во сне боль не почуялась, однако земля ударила в лицо сырой мглой. И запах земляной ощутился. И гнилость досок гробовых. Холодная земля вползала в гроб, как змей, набивалась в рот, в нос, душила, страшила.

Максим напрягся в усилении великом и... да и проснулся.

И даже лежа на лавке, ясно было, что зима пожаловала. Годы все последние приходили морозы еще до Астафия,² и только в этом году дали осени еще неделю. Сподручно оказалось, что ставни на ночь запахнул, однако ж плохо, что неплотно. Холод оглаживал изнежившиеся за лето щеки, и изморозь посверкивала на краю меховой ветоши, коей накрывался Максим – там, где на нее падало его дыхание. Наверное, удушье и прочая дрянь оттого снились, что ветошь набивалась ему в рот...

Вода в кадке у дверей закрылась ледяной коркой, пришлось двинуть ее ковшиком, прежде чем испить. Краюха хлеба вовсе закоченела и на вкус одна мерзлая трава чувствовалась. Там и взаправду хлеба меньше, чем отрубей, лебеды и мякины. В теплое время такой едой можно еще чрево набить, а в студеное – поистратишь остатнюю силу, чтобы ее переварить. Надобно сегодня ловушки расставить, может, какая птица недогадливая попадется на обед.

А дверь не сразу и отворилась, потому как снег обильно примело к порогу. С натужным скрежетом древних петель Максим вышел вон.

Небо было близким и грузным, как «воды небесные». Отчего и тяжесть на лице чувствовалась. Верхушки вековых елей, того и гляди, проткнут одутловатые низкие облака. А над кельей старца почему-то дымка не видно, хотя Савватий, не в пример другим инокам, уважал тепло, а кутаться не любил.

Максим набрал из поленницы дров и стал подниматься к Савватию по склону. Снег не казался студеным, однако наст при каждом шаге корябал босую ступню, за лето привыкшую к травке и мху.

Около иноковой двери замер Максим. Как преставился Савватиев послушник, отравившись нечаянно грибным ядом – а в сухое холодное лето и грибы извратились, – приходилось нередко пособлять старцу. Отчего ж не порадеть божьему человеку? Но был божий человек изрядно сварлив, неучтив и не шибко гостей привечал. Имел Савватий обыкновение стучать в дверь Максиму своим посохом – не без грохота – и молвить одно, редко два приказных слова, не расщедриваясь на большее. «Дров», «Малинки красной», «Грибов подберезовых». Иногда просто ограничивался окриком «Эй» или «Ну».

С той поры, как в почти вымершем ските не стало общих полуночных служб и литургий, Савватий с прилежным громогласием читал ночами канон в своей келье. Закончив, обходил свою постройку, постукивая деревянным молотком по доске-таланте, чтобы бесов шугать. Отчего думалось Максиму, что Четырехликий к Савватию-то наведывается. Уж старец нечистой силе спуска не даст.

Уделив совсем немного времени сну, пел старец заутреню срывающимся высоким голосом, переходя то и дело на греческий.

Отдыхает ли сейчас Савватий после ночной арены³ или вдруг занедужил и изнемог от лихорадки?

Максим постучал в дверь кельи. «Эй, старче, не надобно ли тебе вспоможения какого?» Повременил. Не дождавшись ответа, распахнул дверь.

² 20 сентября.

³ Здесь – духовный поединок (греч.).

Не было старца в келье. Но ведь и никакого следа вокруг. А снег, судя по ровному насту, после ночи не шел вовсе. Куда ж мог подеваться старец темной порой, егда только зверю бродить пристало?

Максим, закрыв дверь, положил дрова у порога кельи. Хотел было повернуть прочь – ноги-то уже замерзать стали, но почувствовал Касание. Сейчас оное не нежило его маслянистыми потрагиваниями, а подталкивало войти внутрь.

Под скрип двери и половиц Максим вступил в жилище инок. Миновав крохотные сени, заглянул в малую клеть. Оказавшись посреди пустой кельи, посмотрел вверх. Гнилые доски кровли выломаны были, и на краях их острых виднелась запекшаяся кровь. Также на стропилах и на полу. Одна половица сдвинута была, Максим приподнял ее – топор лежал под skutом нетронутый. Посох же старцев стоял у двери.

Никуда не ушел Савватий. Враг ворвался в келью инок сверху, неожиданно и безвестно, изранил ино умертвил старца, затем вытащил бессильное тело через крышу.

Максиму сделалось зябко. Не только ногам и тулову, но и внутри пробрало. В подложечье холодная сосущая пустота сполна открылась.

Немедля бежать в монастырь! Это ведь не тать лесной сгубил Савватия. Не медведь, не волк. Велик бысть враг, явившийся мглой полуночной к старцу. Велик и летуч. Знать, не убоился адский гость ни креста, ни крестного знамения. Задул крылом нетопыриным свечу и уволок старческое тело в ночь на растерзание.

Максим, приняв в руку Савватиев посох из твердого южного дерева, оставил келью, и, безотчетливо подгоняя себя, стал резво спускаться по склону. Пока добирался до тропы, небеса утратили тяжесть свинцовую, потончали, залазурились, а там уже солнышко заиграло на снежных шапках, нахлобученных на верхушки елей и красноперые ветки рябины.

Савватий принял смерть на своей «арене», брнное тело не спас, но за истину постоял и божий свет в душе оборонил. И что, в самом деле в монастырь торопиться? Туда, по снегу, едва ли за полдня добредешь, да пока еще лодку отыщешь, чтобы через Вологду переправиться. А вдруг ледостав? Аще одолела Савватия темная сила, то навряд пара послушников, присланных игуменом, вернет старца из объятий ада.

А случиться может и так, что послушники ражие возьмут самого Максима, отволокут в глубокий монастырский подвал с дверями дубовыми, под замок железный посадят. После приедет строгий дьяк от воеводы, да дворские и целовальники от волости.⁴ Что порешат мужики на суде, удобрятся или ожесточатся – одному Господу ведомо. Так ведь и на плаху недолго загреметь.

Сам погиб Савватий, своим произволением на поединок с адскими силами выступя. А коль темные силы уволокли его в преисподнюю, то не так уж и крепок был старец в вере. Ибо тьма сильна только слабостью света. Или же бысть Савватий крепок в вере, потому и вызвал на борение адские силы, но не сумел устоять перед бесовской стаей и погиб с честью. Тело его бесами разорвано, но душа сподобилась вечности.

Обдумав это, Максим заметил, как заполнилась теплом дотоле томящая пустота в подложечье.

Но и ждать, пока кто из монастыря пожалует, неразумно тоже. Надо самому на архиерейский двор сведаться, со знакомым дьячком словом перекинуться, а далее видно будет, в беги ли податься или на месте остаться.

Ежели б уделял он более времени рукомыслу, то сейчас снес бы в город изделие свое, игрушечных воинов из дерева, а на вырученный грош прикупил соли довольно. Когда-то и хлебом удавалось разжиться вдосталь, но нынче дорог он – осьмушка столько стоит, сколько раньше целый каравай. Яровые гибнут из-за суши и заморозка, а озимые, если не померзнут

⁴ Выбранные населением участники суда.

осенью, загнуты весной под наледью. Возле города мужики уже и сеять перестали, в серпень на полях только редкий тощий скот. Почти что весь поразбежался земледелец окрестный – бортничать, рыбу ловить, зверя бить и другим промыслом заниматься... Только на лесных перелогах и подсеках, после пожара, мужики еще растят рожь. Город же прежним купецким богатством жив, хотя новой прибыли давно нет – Русь подчистую разорена литвой и ворами, по дорогам бродит дикий зверь взамен купцов и коробейников. Одна погибель без истинного государя... Может, доделать сперва рукоделие, которое со Спаса незавершенным стоит?..

Когда затоптался Максим в нерешительности, вновь явился Четырехликий. Подумалось тут Максиму, что Четырехликий взаправду не тот ангел, который являлся еще Иезекиилю-про-року, а порождение сил адских. Мог оный и старца сгубить ночью темной. И что за личины у него такие? Не есть ли он зверь многоглавый, который, вышедши из ада, питается плотью и кровью людской на разоренной обессилившей Руси?

Впрочем, на сей раз у Четырехликого ликов приметных не было вовсе видно, однако колес сделалось девять, и были они светлые, как нимбы на образах. Они навроде мчались неведомо куда с великой скоростью, хотя не удалялись от Максима ни на вершок... Сейчас подумал он, что не обманно движение Четырехликого. Хоть и зрим он, да не от мира сего, потому при удалении не кажется менее в размерах.

Капли тумана и солнечный свет свились в подобие коридора, который потянул Максима. Не стал он противиться, и было ему легко.

Бежал Максим среди стен солнечных, словно не мешал ему снег и не хлестали по лицу ветви, погрузневшие из-за наледи. И никакого усилия в ногах не ощущалось, словно скользил он с ледяной горки. И столь резв был бег, что иногда Максиму мнилось, будто он сразу в двух, а то и трех местах. За сосенкой и перед ней, после овражка и не доходя до него, за камнем и до. И все так с просверками казалось, что даже зеницам больно. А потом глазам отдохновение пришло. Бо земной мир сделался тонким, как фарфор венецианский. Вещи все предстали искусным рисунком, нанесенным легкой кисточкой на стенки сосудов фарфоровых – по краскам больше сурик и охра.

Стенки сосудов тех фарфоровых еще поболее утончились, и стали совсем как пузыри. Мир земной, утратив твердость, сделался стайкой разноярких и многоцветных пузырей, которые летели мимо Максима.

Ангел с ликом медным и прозрачными крылами едва не задел острым перьем его щеку. И за пеной земной вдруг усмотрел Максим мир необъятный горный, свет глубокий.

По путям поднебным переносились сонмы ангелов наружности различной, с медно-желтыми, пурпурными и серебряными ликами, с телами звериными или же человеческого подобию. И власы их длинные как огонь веяли за ними. А над ними блистали, будто молнии, сотканые из пылающих, но непалимых нитей серафимы. И куда-то в золотую высь, к сферам далеких звезд, поднимались херувимы, с великим шумом бия хрустальными крылами...

Так легко вбежал Максим в град, стоящий на берегу речки Вологда, где за пряничными крышами Нижнего посада воспарял пятью золоченными главами Софийский собор.

Купола его отрывались от земли, обращаясь в сияние драгоценного камня. А сама земля представляла ажурной узорчатой филигранью, которая плыла по волнам божественного дыхания.

Солнечные лучи, схожие с потоками золотистых вод, дробились в огромные светоносные капли, что прыгали с купола на купола, с церкви Елены и Константина на кресты Николы, с Иоанна Предтечи на церковь Покрова, с избяных крутоизогнутых коньков на стройные башенки теремов, с блестящих слюдяных оконниц на небесного цвета ставни, с резных наличников на расписные подоконники. Солнце насыщало изумрудом ярчайшим даже дерн, крыши покрывающий.

Бревнышки и досочки, из которых сотканы были хоромы, избы, харчевни, лавки, войлочные мастерские, кузницы, овины и мостовые, растягивались, истончались и превращались в вязь без конца и края между двумя океанами рая...

Нечто разорвало внезапно легкую вязь бытия – как шелк дорогого платья разрываем бывает злою рукой насильника.

Замер Максим, с недоумением глядя на собаку – облезлую, тощую, всю в подпалинах. Злоба так распирала ее, что лай превратился уж в хрипящий вой. То и дело ныряя вперед головой, острой, как наконечник копья, пыталась она вцепиться в ногу Максима. Однако страх всякий раз останавливал ее, возгоняясь в еще большее остервенение. Едва удержался Максим, чтобы не поддать псине в бок. С трудом оторвав взор от подпаленной собачьей морды, от зрачков ее очумело расширенных, оглянул Вологду.

Вокруг был ад. Насколько видел глаз – огонь пожирающий, багрянец угля, серый блеск пепла и праха. И дым над посадами, над градом и Заречьем, отравляющий красоту небес черной мерзостью.

Сделался град Вологда и посадки его добычей мечу разбойному и пламени беспощадному. А жители вологодские, от мала до велика, достались чужому воинству на разорение. И гости, нежданные-непрошенные, круты да немилостивы оказались.

Догорал-дотлевал уже Нижний Посад. Жалким остатком от прежней жизни смотрелись лишь столбы печные и котлы почерневшие. В сгоревших хлевах и стойлах лежали прокопченные костяки скотьи. В пепелище обратились квасоварни, избы, риги, харчевни, корчмы, заведения канатные, колодцы, сараи, хлебные ларьки. Даже фашинник, улицу устилавший, собран был в кучи и сожжен. От церкви Покрова сохранились одни ворота, вход открывающие на раскаленные уголья. От кузницы остался одинокий крест, выкованный для новой церкви в Рощенье. Крест раскален был и горел красным светом.

На улице, а то, верно, была Козленская, в слякоти, бурой от истечения крови, лежали мертвые горожане, иссеченные клинком ино умерщвленные свинцом и зельем огненным. Промеж тел человеческих валялись сундуки и лари опустошенные, и разбитые люльки, и лавки с надлабочницами, и зело много тряпья, платки, рубахи, душегрейки – верный след от бесчестия и насилования жун.

И на деревьях висели тела человеческие – плоды насилия лютого. Одни были подвешены за ноги или за вывернутые назад руки. Иные скручены веревками – шея притянута к коленям – и так подвешены. Однако отмучились уже все, погибнув от удушения или боли смертной.

Что-то понеслось с другого конца улочки на Максима. С гиканьем и свистом. Максим, с испуга рванув из забора жердь, крутанулся вокруг себя с приседанием.

Хрустнула жердь, ломая себя и ноги налетевшего коня; свистнула вражеская сабля, не достав немного до темени Максима. Конь, подогнув переломанные ноги, стал падать, с пронзительным ржанием вздымая круп и бороздя мордой грязь. Из седла полетел черкас-разбойник, да и грохнулся головой в тын.

Баранья шапка свалилась с разбойного человека, открыв засаленный оседелец; из трещины на бритой голове выходила толчками густая, почти черная кровь. «Мати, почекай мене, матінка, не йди»,⁵ – прохрипел черкас и сильно дернул ногами в сафьяновых сапогах. Голос его, ослабнув, утонул в нутряном бульканье. Напоследок протянул насильник руку, украшенную женскими перстнями, ухватил комок грязи, да и затих.

Максим бросился бежать от трупа, в сторону от улицы, по проулку между двумя дворами, такому тесному, что и плечам не развернуться было. И хоть сердце билось в нем, совсем как лесной зверек в силках, Касание вскоре остановило его. Максим раздвинул руками сломанные доски забора и вступил во двор.

⁵ Мать, подожди меня, матушка, не уходи.

Низина тут была, снег накопился, так что ноги приходилось перетаскивать с усилием.

Касание привело Максима к щели, полуприкрытой ветками и охапкой прелой листвы. Похоже на колодец, брошенный из-за того, что проникала в него гнилая болотная вода. Однако в колодезной глубине вроде скрывался кто-то. Максим представил было, что там, внизу, затаился нетопырь, погубивший Савватия. Но сразу устыдился своего представления. В колодезе притаилось нечто слабосильное, едва дышащее и безобидное, аки щен или агнец. А враг, враг оказался... сзади.

Оборотившийся Максим увидел воина, стоящего в каких-то пяти шагах. Был тот в кости широк и дороден, а подошел поступью бесшумной, как рысь. Нездешний воин, гость неожиданный, не напоминал оный и заднепровского черкаса, расколовшего себе голову на улице. Облачен человек был на немецкий лад – шляпа, ботфорты, камзол, накидка теплая – шаубе. А пуховый платок, который он повязал для тепла на шею, да безбородые пухлые щеки делали его нечаянно схожим с бабами, продающими сметану в молочном ряду.

– Чего надобно? Какую-такую нужду здесь имеешь? – от страха пробормотал Максим и прикрикнул на пришлеца, как на пса одичавшего: – Пошел, пошел отсед. Не отягощай душу злодейством, Бог все видит.

– «Пошель», «пошель», – повторил человек, слегка коверкая звуки. Находясь словно бы в задумчивости ино вслушиваясь во что-то, неспешно вытащил он палаш из ножен.

Максиму все еще невнятно было, живое ли существо в колодце или только Голос. Но немец явно доискивался именно того, что там укрылось.

– Los, hau ab oder ich toete dich,⁶ – заторопил немец Максима, будто даже с заботой в голосе. Убедительности ради провел чужак толстым, будто колбаса, перстом около шеи, а потом ткнул им в сторону Максима.

Бежать иноземного человека – несмотря на бабий платок, скор он на кровопролитие – бежать скорее. Однако из щели снова донесся звук скулеж, не скулеж?

– Да что ж ты гонишь меня, хоть и сам не хозяин? Не сын, не дочь, не женка хозяйская. Или женка? Дороден, щеками упитан, весьма подобен.

– Mann, ich werde nur nach dem Besuch aller rheinischen Weinkeller sterben.⁷

Максим взял покрепче посох обеими руками и махнул им в сторону иноземца.

При первом выпаде немец и не шелохнулся вовсе, видно, почувствовал, что конец посоха не дотянется до него. Второй удар легко отразил палашом. По отдаче Максим понял, что чужеземец – воин не только сильный, но и многоопытный. Впрочем, не торопился немец, сберегая силы, авось Максим и сам побежит.

А Максим не чувствовал в себе лютости, потребной для борения ратного и человекоубийства. Как в самой первой своей рати на Нарове. Тогда задор передался ему от соратников, но сегодня был Максим один. И на краю окоема усматривался путь к отходу поспешному. Перемахнуть с одного маха через кучу валежника, а там припустить мимо избы, на соседнюю улицу. Не полезет немец через эту кучу, чтоб какому-то голодранцу башку снести. Другое прикидывает иноземца, именно тот колодезь.

– Ты – пошель, – подтвердил немец. – Ты – после, поживи чуть-чуть. Weg, na los.⁸

Максим уже сделал шаг в сторону, но отчетливо услышал плач из колодца. Не агнец это, не котенок, не щенок. Максим снова обернулся к немцу.

– Теперь ты – мертвый, – приговорил ласковым голосом иноземец. – Unaufaltsam rinnt die Zeit in das Meer der Ewigkeit.⁹

⁶ Давай, дуй отсюда или я убью тебя (нем.).

⁷ Мужик, я бы согласился умереть, только посетив все винные погреба на Рейне (нем.).

⁸ Ну, двигай (нем.).

⁹ Неуклонно течет время в океан вечности (нем.).

Максим сделал еще выпад посохом, да все так же неуклюже. Перехватил немец левой рукой деревянное орудие, а затем ударил палашом.

Останься Максим на месте, отлетела бы его голова, да только отпустил он посох и бросился в ноги иноземцу. Немец, хоть и грузен, однако перепрыгнул через подкатившееся тело и уже оборачивался, вознося клинок для рассекающего удара. Максим споро перехватил своим босыми ступнями его ногу и толкнул под колено. Немец, взмахнув руками, пал вперед. Придавил Максим своим коленом его палаш, но противник быстро перекатился на живот, приподнялся и выхватил из малых ножен колющий кинжал, дагом именуемый.

Кинул Максим снег в лицо иноземцу. Немец, дурно видя, неловко ударил дагом, тут и ухватил его Максим за запястье бьющей руки.

Широко было запястье, не удержать, немец и вырвал руку, но из-за усилия повалился назад.

Максим, быстро ухватив палаш, вогнал острое немцу в грудь. Бжикнула твердая сталь, протачивая грудную кость. Ухватился немец за лезвие, приподнялся было, но острое клинка пошло дальше.

Застыл раненый немец, с трудом удерживаясь под натиском клинка. Словно сдерживая отрыжку, молвил:

– Mach es wie die Sonnen Uhr, zahl' die heiteren Stunden nur,¹⁰ – и повалился в мокрый снег.

Максим сделал один только шаг к колодезю и полуобернулся, почувствовав Касание.

Немец опять стоял позади, хотя из отверстия в груди его обильно выходила кровь, которую он пытался поймать в пригорошню. Другой рукой поднимал он палаш.

– Да вразумишься ты насовсем, супостат?

Максим, не оборачиваясь далее, ударил немца пятуй в горло. Враг пал на спину, при ударе о поленницу голова его оказалась свернута набок, так что ухо приникло к плечу. А после того немец и не шелохнулся уже, сделавшись безвредным.

Максим подошел к колодцу. Сейчас видно было, что оттуда пар поднимается и слышится не Голос, не писк или скулеж звереныша, а дыхание детячье, усиленное страхом.

– Эй, вылезай. И не писаться от страха-ужаса, а то порты заледенеют и греметь начнут.

¹⁰ Будь как солнечные часы, считай лишь солнечное время (нем.).

2

Было сирот трое. Две девочки, Настя и Даша, и мальчик Иеремия. Все с виду лет семи, а ежели и постарше, то щуплые из-за бескормицы последних лет, когда летние заморозки губили посевы. Девочек от мальчика отличали только медные кольца в ушах. А вот бедствия прежде времени состарили их понимание.

Мальчик потрогал пальцем отверстие на груди мертвого немца и уважительно коснулся палаша.

– Ты его этим, дядя? Сильно надо ударять? А тело вражеское как масло протыкается или как хлеб? Почему дырочка в немце такая маленькая? Этого хватит? А почему башку ему не срубил? Когда голова отрублена – надежнее будет. А то вдруг упырь.

На лицах у детей налипла копоть пожара, да и замерзли они порядком. Только на Даше был подпаленный зипунок, мальчик и вовсе в одной рубахе.

Максим снял с убитого иноземца накидку и, немного отерев снегом кровь и грязь, отдал Иеремии. Понравилось огольцу новое одеяние, хотя рукава волочились по земле, как у скомо-роха. Настю Максим облачил в немцев камзол, да намотал на нее пуховый платок, чтобы новая одежда не сидела мешком. Девочка вытащила из кармана камзола малые часы, но ничего в них не смогла понять и швырнула в грязь, отчего получила заслуженную затрещину от Максима.

А за отогнувшимся воротом рубахи у мертвого немца оказался след ожога. Должно быть, иноземец клеймо с себя сводил, сделанное палачом. На висках же виднелись отпечатки вечные от тисков, на шее крепкие следы колодок, которых ливонцы называют «Хальсгайге». Впрочем, вызвало это меньшее любопытство, чем фляга с южным вином, полным нездешних ароматов. Из фляги Максим пригубил изрядно, прежде чем выбросить, а холщовый мешочек с имбир-ными сухариками отдал детям. Мальчик сразу, по-хозячьи хозяйственно, набил сухариков за обе щеки и стал ждать, пока натечет слюна. Девочки принялись грызть свои кусочки по-бели-чьи, торопливо.

Не дав сиротам спокойно подкрепиться, Максим потащил их по распутице промеж дво-ров.

Путь оказался недолог. В конце проулка поджидали их двое длинноусых жолнеров в лян-ских жупанах и шароварах да кудрявый солдат из фрягов. Максим обернулся – с того конца проулка внушительно въезжал конный воин на высоком статном жеребце.

– Finita, amico,¹¹ – фряг улыбнулся приветливо, будто разглядел в Максиме старого зна-комца. – Che io faccio in questo paese del freddo eterno? Io faccio denari, nessuno piin, Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita.¹²

– Дядя, – потерявила Даша Максима за рукав, – я их знаю. Они живьем едят, как звери. Мамку мою ели и сосали, хоть она и кричала, и молила, и плакала жестоко.

– Будет тебе придумывать, гадам этим жрать, что ли, больше нечего? Смотри, как все повыели.

– Правда, правда, – поддержал девочку мальчик, – жрут живьем. Но не как звери, хуже. Это у них наука такая, они желают вывести доподлинно, что у человека внутри. Братца моего зело мудрено распотрошили. Все кишочки из живота его до единой вытянули.

– Вот что, вы к огороже подайтесь, там у забора встаньте. – Максим распахал детей по сторонам и понял, что совсем не знает, как ему быть.

¹¹ Кончено, друг (итал.).

¹² Что я делаю в этой стране вечного холода? Я делаю деньги, ничего более. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины [цитата из *Данте*] (итал.).

Конь под всадником шел медленно, трое пеших тоже не торопились, будто притомившись от злодейств. Максим не боялся смерти, но представлял ее приход совсем иначе – под иконами, под звон колоколов. А, знать ведь, пришельцы, порешив его, детей истерзают...

Максим втянул паленый воздух и побежал на пеших иноземцев, вздымая над головой палаш. От троицы отделился лишь один поляк, в его руке сверкнул металл, и через мгновение оружие было выбито искусным приемом из руки Максима.

– *Il colpo eccellente*,¹³ – похвалил фряг своего товарища. Лях не стал немедленно повторять удар и дал Максиму отпрянуть назад.

Левая ладонь, держащая посох, вспотела, несмотря на пронизывающий ветер. Вдруг Максиму показалось, что деревянное навершие движется. Или не кажется это?

Потянул Максим навершие посоха и увидел рукоять! Следом выпрямились подпружиненные дужки гарды, а там золотом блеснула черная дамасская сталь. Савватий, кем же ты был во дни молодости своей, коли в посохе хоронил меч-кладенец? Похоже, был сведущ ты не только в битве духовной.

Вновь приблизился Максим к трем чужеземцам, пригибая голову, словно в знак почтения.

– *U kolana, psia krew*,¹⁴ – велел поляк с вислыми как сусло усами.

Максим опустил в слякоть.

– Да хоть на чело пред вами упаду, вельможное панство. Не потому, что от вас, дьяволов, житья нет, а по глупости драться начал. Виноват, не осознал. Вы ж нам науки несете и вольности, дотоле нам неведомые. Больше не буду.

– *Bedziesz nie*,¹⁵ – подтвердил лях и лениво поднял клевец. Вряд ли таким голову проломишь, лишь оглушишь жертву, чтобы затем домучить.

Мгновением спустя смотрел лях расширившимися зрачками на свой живот, где словно рот открылся и пустил слюну кровавую.

Раскроив жолнеру живот, Максим, не останавливая клинка, пронзил им сбоку фряга и, вскочив на ноги, нанес наискось удар по другому ляху.

Этот жолнер успел поднять свою саблю, но лишь немного изменил полет меча. Булатный клинок, войдя ляху чуть ниже скулы, голову прорубил наискось до основания черепа. Постоял еще жолнер с меркнувшим взором, пока верхняя половина головы не упала назад, будто крышка от ларца, тогда и сам рухнул.

Максим услышал стук копыт – значит, пришпорил всадник, хотя вряд ли в понимании, каковая беда приключилась с его товарищами.

Максим принудил себя не оборачиваться к конному врагу, доколь не досчитал до пяти. Опомле, схватив согнувшегося фряга за шиворот, толкнул под налетающего коня. И теперь уж, обернувшись резво, вогнал булат в брюхо вставшему на дыбы жеребцу.

Опрокинулся конь, утянув вместе с собой клинок. Наездник не поспел вскочить на ноги. Даг, верно направленный рукой Максима, пробил шею всадника и пригвоздил его к деревянной мостовой, скрытой под снегом.

– *Merde!*¹⁶ – выдохнул всадник, оставив пятна кровавые на снегу, а с тем и отдал душу дьяволу.

Максим потянул клинок из живота околевающего коня. Глядел тот мутнеющим персиковым глазом, и Максим почувствовал ком в горле. Прости, Господи. Разве тварь, неспособная по воле собственной причинить зло, должна мучиться?

¹³ Отличный удар (итал.).

¹⁴ На колени, собачий род (польск.).

¹⁵ Больше не будешь (польск.).

¹⁶ Дерьмо (франц.).

Тут слышал Максим чавкающий звук. Это Даша опустилась на коленки рядом с издающим конем и давай слизывать кровь с его раны.

– Что творишь, бездельница? – Максим рывком поставил девочку на ноги. – Мы же не живодцы.

– А он так делал, – Даша показала пальчиком на убитого всадника, – и другой тоже. Какие ж они бездельники? Они – ученые. Они ж больше нашего знают и во всех делах искусные. Из мамки моей кровь текла, а они слизывали. Сперва сильничали ее долго, я все видела. А потом почали ковырять ее ножиками, ковыряли и паки слизывали, вот тут и тут. Гладили ее, утешали голосами нежными, а потом снова ножиками дырявили и пластовали. Ножики то у них все разные, длинные, короткие, с черенками красивыми. И я хочу, как они.

– И я хочу, – поддержал мальчик. – Я тоже желаю всю их науку узнать. Они больше нашего ведают, как человек устроен, где у него душа бьется, а где то место, которым думают.

– А ты никоим местом не думаешь! Они не ученые, они – бесы. А мало ли что бесы творят, – Максим, еле продохнув из-за комка в горле, оттолкнул девочку. И Даша вместе с другими детьми, не обращая внимания на корчи фряга, стали рассматривать цветные камушки, выпавшие из его кармана.

Максим снял с поверженного всадника длинные кавалерийские сапоги. Подходящие оказались. Вынул из седельной кобуры двухствольный пистолет с колесным замком. У жолнера, что был поражен в живот, стащил с рук перчатки из желтой кожи. Добил фряжского иноземца одним ударом дага, а короткий фрягов плащ из крепкого сукна кинул Даше. Снял кафтан с другого ляха. Больше ничего уж ему, упырю, не надобно, кроме двух тесных аршин русской земли. Великоват оказался кафтан в брюхе, ну да сойдет. Натянул на себя ляшские шаровары поверх своих драных портов. Надел шляпу всадника. Собрал блестящие камушки, оброненные фрягом, в карман. Похоже, среди оных имелась и пара смарагдов.

– Идти пора, – он подумал, что в Нижнем посаде им вряд ли где придется укрыться. До Спасо-Прилуцкого монастыря поди ж доберись, еще и горит Заречье, насколько видит глаз. Тогда подаваться к Софии, иначе некуда.

– Дядька Максим, я, когда вырасту, сделаю пистолю, которая тысячу стволов имеет. Они будут крутиться и пулять быстро-быстро, – торжественно сообщил Иеремия. – А ты мне дай сейчас немцев пистолет. А можно одной пулей сразу трех супостатов застрелить?

– Соплю утри, стрелок. Тебе пока что только под кустом пулять.

Надвинув поля шляпы на лицо, Максим велел детям взяться за руки и повел их за собой.

После выпаленного Посада ступили они через обугленные Спасские ворота в вологодский град. Не спасли его стены и валы земляные, нерадивы были стрельцы и казаки городовые в своем бдении. Изрубленные защитники пали у ворот и, похоже, беда застигла их врасплох; один был даже с ложкой в руке. У подножия сторожевой башни в окровавленном снегу лежали тела стрельцов, с верхотуры сброшенные. У иных животы были вспороты, словно кто-то хотел убить их второй раз, для верности, или искал чего-то в открывшемся чреве.

Каждый второй дом во граде изгорел уже дотла, остальные постройки полыхали. Падали там и сям прожженные стропила, рождая бурные потоки искр, и, суматошно треща, рассыпались огоньками бревенчатые стены. Из редких нетронутых пламенем домов доносился хохот бражничающих победителей да вопле-ние горожан, преданных пытке. Тоскливо бредущая лошадь протащила на веревке привязанный за ногу труп стрелецкого полковника с пустыми окровавленными глазницами. На улицах, опричь мертвых тел, попадались только бредущие во хмелю черкасы и гайдуки.

Воры, налив глаза, тащили тряпье, сапоги, меховую рухлядь, серебряные оклады икон, шактулки с финифтью. У некоторых были закинута за спины звонкие мешки с чашами, ендами, блюдами, ковшами, поставцами и прочей утварью. У иных – тюки с пушниной, парчей, сафьяном, сукном. Несло воровское войско и тазы, и зеркала, и подсвечники, и рукомойники,

и любое изделие медное. Даже бочонки с черносливом, миндалем и изюмом, на которых стояли заморские клейма.

Все, что Вологда терпеливо копила десятилетиями, ходя за пушным зверем к Поясу Каменному и моржовым клыком к Югорскому Шару, что получала из далеких земель через бурные воды у Кольского берега и льды Белого моря – все было расхищено жадным пришельцем. Не помогли не присяга воеводы Никиты Пушкина самозванцу, ни слезные прошения городских дьяков о защите, направленные гетману литовскому Сапеге...

Какой-то черкас нес богатое женское платье с дырой кровавой, проделанной острием пики.

Лях тянул за волосы нагую девушку-отроковицу, то и дела нанося удары плашмя свой саблей по багровым спине ее и ягодицам.

Было и так, что, притомившись тащить таз или другое изделие, бросал его вор в грязь и, не оборачиваясь, шел дальше.

В одном месте черкасы дрались с гайдуками из-за серебряного кубка с чеканной персидской вязью. Сабли из ножен не вынимали, боясь своих начальников, однако били друг друга с остервенением. Лица у всех были залиты кровью, из расквашенных носов летели красные сопли. Некоторые уже изувечились и не могли встать.

Пара ногайских всадников тянула целую дюжину полоняников, связанных пенькой попарно. Из седельной сумки степняка выглядывало зареванное лицо крохотного мальчонки. Уже не вопило дите, а только сипело надорванным горлом. У другого нога на пику была нанизана голова, в которой Максим признал знакомого дьяка.

Максим видел над архиерейским двором дым и языки пламени, сжигающие высокую трапезную, стоящую на подклетьях, но Софийского собора пожар не коснулся, хоть и почернели его пять глав от городской копоти. Привести туда детей и уйти из города на север. В храме детей не тронут, туда даже агаряне ногайские не полезут...

Но, когда Максим вышел на соборную площадь, то увидел, что на длинной веревке, привязанной к языку большого колокола, висит удушенный звонарь, а двери Софии сорваны и брошены на ступени крыльца. К дверям тем пригвожден почивший в муках игумен, а внутри царит мерзость грабежа и ходят кони.

Из храма выехал иноземный всадник, его бравый жеребец ловко переступил через тело игумена...

3

Всадник наставил на Максима палец и, сказав «The game is over», неспешно проехал мимо. Сзади к его поясу приторочено было несколько кусков кожи, снятых с головы человеческой вкупе с волосами. Русые были волосы, длинные и образовывали будто хвост.

Не будь здесь вашей стаи, я бы тебя этими волосами и накормил, подумал Максим.

Следующей из храма выехала светловолосая девица, грубовато нарумяненная, в платье женском, однако сидящая в седле по-мужски, отчего видны были не только голенища ее коротких сапожек, но и круглые коленки в шелковых чулках. На шее у нее висело ожерелье. Не перлы нанизала барышня на нитку, не бусинки, а уши человеческие.

– Чего буркала выкатил? – сказала она Максиму, выговаривая по ляшски лишь букву «л», и поехала вслед за иноземцем, сильно ерзая задом по седлу.

– Подушку под жопу положи, а то натрешь, синей будет, – не слишком громко сказал Иеремия и тут же получил подзатыльник от Максима.

Девица остановила коня и обернулась.

– Ах, да, прости, что нелюбезной была с тобой. Ты же к обедне явился, добрый прихожанин. – Она показала нагайкой на детей. – А не продашь ли ты мне их? Э, чего молчишь, челове-че? Не по чину к тебе обращаюсь? Или язык в задницу спрятал?

– Ежели ты и про это ведаешь, то сама его доставай. Мне как, повернуться?

– Не шляхетское это дело в афедроне ковыряться, – продолжила девица. – Так что насчет деток? Я-то пенязей¹⁷ не пожалею, но и ты не долго торгуйся. Ты ж из куреня атамана Мазуна, а этот военачальник прославлен лишь жадностью своей; ребят у тебя точно отнимет.

– Не продавай нас, дядя Максим. Глянь-ка на ее ожерелье, это ж баба-яга, только еще в девках, – мальчик шептал, держась за свои уши, как будто их могло сдуть даже ветром.

– Я чужим добром не торгую, – сказал Максим. – Станешь моей, девица-красавица, то я тебя так интересно продам, что по-далее Ефиопии окажешься, любимой женой у царя обезьяньего.

– El saludo, mi amable. Pensaba que te alegraras a nuestro encuentro.¹⁸

Этот голос послышался сзади. Максим обернулся и увидел женщину на коне. Ее рыжие волосы спадали из-под мужского берета. И была облачена она в богатое мужское платье, хотя поверх камзола грела ее соболя женская шубка.

– Слов таких не знаю, – отозвался Максим. – И она знает, что я не знаю. Может, у нее изъян какой в голове?

– Aunque has acabado alguno a nuestros muchachos, de nada te amenaza. Mientras que soy viva.¹⁹

Вот упертая, талдычит и талдычит.

– Да мне ее слова, что бляенье овечье, непонятность одна. Не ведаю, чего ей угодно. Может, в бане со мной попариться? Так это я быстро, только веточек наломаю, не извольте сомневаться.

Женщина сказала на своем языке несколько слов беловолосой девушке, и та снова обратилась к Максиму, от которого не укрылось, что ехавший впереди всадник остановил своего коня и передвинул ладонь на рукоять пистолета, заткнутого за широкий пояс.

– Ясновельможная госпожа ищет некоего Шаббата из Порто, известного также как Орландо Сеговия, шпанского еврея, маррана, подложно принявшего христианскую веру, но

¹⁷ Литовские деньги.

¹⁸ Привет, милый мой. Я думала, что ты обрадуешься нашей встрече (исп.). – и далее.

¹⁹ Хотя ты и прикончил несколько наших парней, тебе ничего не угрожает. Пока я жива.

втайне поклоняющегося темным духам, коих он вызывает силой кабалистического чернокнижия, – стала объяснять беловолосая девица, словно бы читая по-писанному.

– Нашла, где искать своего Забодая. И разве здесь она его потеряла?

– Сеньора считает, что Шаббатай – это ты.

– Ах, вот как. Тогда лекаря зовите иноземная боярыня русских мухоморов объелась, или суньте ей хоть снега за шиворот для поправки ума. Крапива под хвост тоже помогает.

– Чего эти злыдни хотят от нас? – заныла Настя, дергая Максима за рукав. – Они противные. Противные они все, убей их поскорее. Может, у них в карманах тоже камушки есть.

– Убить не помешало бы, – рассудительно произнес мальчик. – У них глаза жуткие, как будто из зениц чертики выглядывают. Дядя Максим, ты посмотри получше. Думаю, что ежели их разрубить, то внутри найдутся жабы и змеи ползучие.

И убью, подумал Максим. Вначале собью из пистоля иноземца, потом застрелю дурную бабу, что сзади. Девку белобрысую прирежу. Если они меня ранее умертвят, то хоть не увижу, что эти злыдни детей мучают.

Максим заметил, как иноземец обменялся взглядами с рыжеволосой женщиной, что была за спиной. После чего белобрысая девка молвила совсем мирным голосом.

– А чего мы с тобой, грубияном, стоим, балакаем? Ты нам осточертел, иди куда хочешь, отец многодетный. Соскучаешься, найдешь нас, – и девка, высвободив сапожок из стремени, толкнула каблучком Максима в плечо.

– *Nasta la vista*, – многозначительно добавила напоследок рыжеволосая всадница.

– Чтоб мне вовек вас больше не видеть, идола.

Почему они меня погодили убивать? – думал Максим, увлекая за собой детей. Может, замыслили поиграть в кошки-мышки? Скорее бы миновать Верхний Посад и спешить в лес, там искать других горожан, сбежавших от врага. Должен же был кто-то уйти с погорелья. Может, у детей там родичи сыщутся, глядишь, найдут себе заботу и пропитание, буде Господь того изволит.

Солнце быстро истаяло в зареве пожара, над которым нависала плотная багровая мгла. До восхода надобно было где-то укрыться, и единственным подходящим убежищем показалась разоренная и выгоревшая Владимирская церковь на Коровиной улице. От алтарной клетки не осталось ничего, средняя часть была наполовину без кровли, только притвор оказался цел да звонница, примыкавшая к южной стене.

Убив и наскоро поджарив голубя, Максим насытил детей, затем уложил их ко сну в церковном притворе, использовав вместо кровати выломанную дверь. На одеяло стодило тряпье, которое валялось повсюду. На матрас – оброненный ворами тулуп. Сам сел возле дверного проема, прислонившись к стене. Главное, восход не пропустить и в путь двинуться, едва на востоке заря забрезжит. Напокамест небо было мрачным, словно прокопченным, ни месяца, ни одной звезды. Ветер даже не пытался сдуть гарь, редко сыпался снег.

В полночь пришло Дрожание, отчего затрясся ограбленный иконостас. Дрожание преудало Максима. С улицы невнятно зазвучал Голос, хотя Максим знал, что никого сейчас поблизости нет. Воры и тати, наевшись и опившись, дрыхли или тискали девок в немногих уцелевших избах.

Касание подталкивало Максима к выходу из церкви, а тьма и снежинки услужливо свивали перед ним коридор. Он мог уйти проворно и жить, как прежде.

Шага сделать достаточно – и снова он волен. В своем одеянии иноземном запросто весь город пройдет. Максим встал и чуть было не ступил за порог, но Настя забормотала во сне – будто уловив его предательское движение, – и застыл он на месте. Затем снова сел к стене...

Сквозь дрему Максим зачуял, откуда явится незванный гость. Онный вошел не через дверной проем, а через пролом в стене, дальше притвора. Тот самый иноземец, с хвостом из волос, что выезжал на коне из божьего храма. Максим был наготове и направил на иноземца клинок.

– Не шелохнись, а то дыр в тебе наделаю, не соскучишься затыкать.

– I have right to call my barrister,²⁰ – без боязни сказал долговязый чужеземец и добавил, сильно коверкая слова: – Ктоу с мячом к уам придьет, от мяча и погибнет. Я пришьел со свободой.

– От свободы и погибнешь, бес.

И тут из-за спины Максима послышался новый голос.

– Эк ты одбоко мыслишь, мясник, все бы тебе людей колоть да резать. Только ты не из людишек атамана Мазуна, верно?

Максим обернулся. Позади было двое. Белокурая девица, которую он видел у собора, только без страшного ожерелья из ушей. А рыжеволосая женщина уже вынесла из притвора Иеремию, который пялился на нее спросонок, как мышь на гадюку.

– Пусть вернет мальчонку в постель, иначе будет ей здесь погребение не по уставу, да кол промеж ребер, чтоб больше не рыпалась, – Максим едва продавил словеса сквозь уплотнившееся горло.

Рыжеволосая шепнула несколько слов беловолосой девице, и та продолжила:

– Сеньора Эрминия обещалась быть ласковой с дитем, но и ты веи себя поласковее. Каким бы ты ни был воином великим, а детей тебе оборонить здесь не удастся. И первым делом должен ты себя назвать, того же и правила вежества требуют.

– Кому должен? Кто вас звал? Зачем вы тут, человекоядцы ненасытные?

– Ах ты, московит недогадливый. Мы нравы просвещенные несем, что в Вест-Индию, что в твою Гиперборею.

– Знаю про нравы, бывал в Ливонии. Видел в тесных клетках, к деревьям подвешенных, человеческие останки. Кажется, были это крестьянские парни, своровавшие курицу или пару грошей. Видел застенки пыточные, там приборов изобилие, созданных для подробного терзания тела вплоть до мизинца ноги. Видел фольтерштуль, штрекбанк и деу железную. Это царь Иван велел за донос ложный престрого наказывать – а у немцев доносчик вместе с палачом разделят имущество казненного. А еще ваши лекари у наших ратников мертвых чрева вскрывали, пытались до души достать, таковое еще случалось во времени Баториева разорения.²¹

– Про анатомические штудии после поговорим. Компания наша здесь ради свидания с одним славным мужем. И имена его уже называла я тебе. Ясновельможная госпожа Эрминия Варгас – слуга Святой консистории и Ордена *Societas Jesu*, и послала ее сюда иезуитская коллегия Полоцка под опекой пана гетмана Шелковецкого.

– Слыхал я и про полоцких езуитов, кои владеют, как магнаты, тысячами православных хлопков.

– Да ты и сам не мужик, видно. Так скажешь, кто ты есть?

– Ладно, доложи своей Иродиаде. Не холоп я, а сын боярский. Максим, сын Стефанов. Поверстан на службу государеву от Спасского Городенского погоста, что в устье Нево. У славного воеводы князя Димитрия Хворостинина по правую руку на Нарове был, когда Густава Банера и свейских немцев побиили. Крымских собак хана Казы-Гирея гонял от Москвы, и в поле много выезжал у татаровьев полон отбивать. И за Пояс Каменный в Сибирь ходил за Кучумовой головой, под началом князя Кольцова-Мосальского, и Томский острог ставил. Однако ныне я, притомившись, от службы отошел, да и на Москве нет государя истинного. Владислав, королевич ляшский, который в Москву пожаловать боится, его гетманы и полковники, так же, как и бояре-изменники – все нам не гожи.

²⁰ Я имею право обратиться к адвокату (англ.).

²¹ Наступление войск короля Стефана Батория на последнем этапе Ливонской войны.

– Не гожи, значит. Но и тебе надоело начальников строгих слушать? Тогда тебе к нам, – белобрысая хихикнула и подошла ближе, протягивая вперед свернутые в трубочку губы. – Зови меня Каролиной, молодец.

– Почему на нашем говоришь без запинки?

– Неужто неведомо тебе, бывалому да брадатому, что шляхетство литовское есть русского корня?

Голос Каролины стал совсем тихим, как у женушки темной ночью, а пальчики затеребили кружевной воротник.

– Только мне и то ведомо, что у вас, у шляхты, с кметами вашими теперь и вера разная, и язык. И ненавидите вы их почти также, что и нас. Своего хлопа вам дозволено убить как собаку, и наших полонников вы сечете и режете, чего и крымские басурмане не делают. Отца моего, что нарядом²² ведал в Луках Великих, на пушке повесили, бесово отродье.

– Справно речешь, как истинный москвит. Забыл только добавить, что недолго нам топтать землю русскую. Но госпожа эта в тебе беглого маррана шпанского усматривает. А вдруг не обозналась она? Тогда в тебе, помимо бороды лопатой, еще и ученость великая имеется.

²² То есть артиллерией.

4

Эрминия Варгас прошла в притвор, держа ребенка почти на прямых руках, будто тот был легче зайчонка, и опустила на постель.

– Фу, наконец отпустила, ведьма, – пробормотал мальчик. – Я вообще не робкого десятка, но она ж смотрит на тебя, как баба-яга. Не моргает, идолица. Честно слово, ни разу.

– Смотри-ка, Максим, а звонница цела, поднимаешься с нами? – спросила Каролина. – Или страшишься? Ну да, я ж для тебя баба-яга – костяная нога. Иль не костяная?

И, задрав юбки, показала она свою ножку, переставляя сапожок с каблука на носок.

– Ну, что тебе еще казать, иннок? Нос, который в потолок врос? Или попу жилистую? – Каролина полуобернулась, туго натянув материю на выпуклом задке. – Как, сильно похоже на ягу? Все еще страшишься, добрый молодец? От девок дрист пробирает, от баб понос?

Запястья ее рук были тонки, как у истинно знатной девушки. Девка – злая, жестокосердая, но не более того. Может, и стоит с ними переговорить, чтобы отстали наконец.

– Ясно лишь то, что хвоста у тебя покамест нет. Поднялся бы с вами, но только на вора этого немецкого детей не оставлю, поскольку злодей он и паскудник.

– Не немец он. Ровлинг, Бред Вильямович – человек его величества короля английского Джемса.

И Каролина ущипнула человека английского короля за ухо, отчего тот стал хватать ее пальцы и пытался их поцеловать, получая все новые щипки.

– Англ тьмы, значит. И какой-то аглинский черт Бреда Вильямовича сюда принес?

– Черт, именуемый «Общество купцов-искателей для открытия стран, земель, островов, государств и владений неведомых и доселе морским путем не посещаемых».

– Вижу, что англы – наглы. А разве нас открывать надобно?

– Да разве москвиты вскоре не переведутся полностью, как вандалы и сарматы, от неустроения?

– А что Бред Вильямович, открыв нас, станет тут рожь и репу растить? А после зябкого лета и недорода начнет лебеду толочь? Или рабов черных сюда привезет? Так они тут быстро из черных бледными сделаются.

– А ты экономии не понимаешь. Бреду Вильямовичу тут люди для рошения репы не надобны. Здесь поставит он фактории да пакгаузы на пути в страны богатые, Сибирю, Индию и Китай. Ничего-то ты не знаешь, невежда московский.

– Yes, Siberia! – поддержал англичанин, поднимая брови. Эрминия подошла к Ровлингу, провела пальцем перед его глазами и толкнула в лоб. Англичанин неожиданно упал назад, как сущее бревно. Сразу сделался вмятен запах мочи, и по широким штанам его расплзлось темное пятно.

– Теперь покойно стало душе твоей, Максимушка? Изо рта у англа тянулась слюна, зеницы закатились.

– А, может, он всегда такой.

– Ну, что ему еще в исподники наложить для полного твоего удовлетворения?

– Ладно, пошли.

– Не ходи с ними, дядька Максим, – крикнул мальчик. – Они же гнусные. У белобрысой – прыщ на носу, посмотри получше, а рыжая вообще карга старая. И моются они куда меньше нашего, немчуки эти.

– Кто бы там про мытье рассуждал. Спи, неряха, – прикрикнул Максим и со стыдом ощутил, что уже злобится на мальчика.

По скрипучим ступеням взшел Максим на звонницу, ощущая еще больший стыд, потому как волновало его то, что виднелось из-под сильно приподнятых женских юбок – Каро-

лина поднималась перед ним. А со звонницы и град, и посадки предстали россыпью пожарищ, похожих на глаза зверей хищных, отчего у Максима сразу стало томить сердце.

– La fuerza mas superior habra en las cosas mas bajas. Que mas cosa es primitiva, por aquello su fuerza transcendente que penetra es mas importante. Asi de hecho cuentan los senores cabalistas,²³ – сказала рыжеволосая.

– Чувствуешь, – спросила Каролина, – сколько света? Какое обилие силы высвобождено из плоти грешной? Коли сумеешь принять ее, то и полететь силы хватит. Тебе, что, медведь сивый, летать не хочется, как птице или бабочке?

– Мне клевать нечем будет, Каролина. Да и вдруг на лету опростаться захочу... Ничего я, красавица, не чувствую, опричь копоти, смрада и гари великой. Да и тебе, верно, мерещится с недосыпа. Для здоровья душевного полезно много почивать, а от беснования один вред.

Но Максим говорил так ложно. Нечто восходило из сожженного города, поднималось из разоренной Вологды и воспаряло к багровой мгле неба. А во мгле этой чудились колеса, похожие на те, что были у Четырехликого, только совсем огромные.

Словно теплое легкое масло текло по спине Максима, его груди и горлу, и глубже, по хребту и внутренностям, унося томление и печаль. Максим и раньше знал Касание, но нынешнее было донельзя сильным и соблазнительным. Будто шагнешь со звонницы к этому «нечто» и начнешь парить в теплых маслянистых струях.

Быстро сотворив крестное знамение, Максим сделал шаг назад и перестал ощущать соблазн столь остро.

Но шляхетка коснулась тонкими длинными пальцами щеки, а затем и шеи Максима, одним этим вызвав забытое уже перемещение телесных соков и брожение чувств.

Вдруг понял он, что обрыдло ему забытье лесное. Надоело ему обитать в лесу, среди волков и прочих неразумных тварей, где из людей только редкие иноки, еще при жизни, считай, неживые.

– Отринь, меч. От клинка только боль и муку узнать можно, – зашептала Каролина возле уха Максима, смущая его своим дыханием. – И без меча насытишься победой великой. Сам же говорил, что притомился от войны. Только не в лесу надо прибежище искать, ведь не еж ты, не лешак бездушный, а в любви и в воле.

Слово «еж» особенно устыдило Максима, словно между ним и этим неприглядным зверьком и в самом деле сходство имелось. «Неужто я вроде ежа стал – сопливый, колючий, жру еду паскудную».

Каролина потупила очи, но при том проворно распахнула шубку и растянула две верхние пуговицы камзола у Эрминии.

– Погодите, девки, не горячитесь. Не в коня корм.

– Наш корм еще как в коня. И пора тебе, конь, на волю. Ино не нахлебался еще тоски, бука ты лесной? Не вдосталь еще мхом зарос?

Эрминия, срамно глядя на беловолосую шляхетку, провела рукой по ее пальцам и сама растянула оставшиеся пуговицы своего камзола. Каролина наклонилась и поцеловала грудь Эрминии, прикрытую только батистом рубахи.

Больше всего сейчас хотел он остаться с ними, с этими кровавыми блудницами, находящимися на службе Святой Консистории. Его взгляд втягивался в ложбинку между грудей Эрминии, да так, что голова кружилась, как в водовороте.

– Ну да, Максим, не топор это, ржавлением подпорченный, не бревно шершавое, не солома, не то, к чему привык ты, лешак. Это плоть нежная, вылитая из света божественного.

²³ Самая высшая сила есть в самых низменных вещах. Чем более вещь примитивна, тем проникающая ее трансцендентная сила значительней. Так ведь считают господа каббалисты (*исп.*).

Перейди же предел, положенный твоим одномыслием, тупостью твоей дубовой, и войди в чертог царственный.

– Что-то мне невдомек, что за чертог такой? Чем опять прельщаете? Чином придворным?

– Как же прельстишь тебя, ежика колючего, придворным чином, – улыбнулась Каролина. – Вот наши чертоги. Ласковые, теплые.

И она распахнула рубаху на груди Эрминии.

– Уходил же ты в пустынь, Максим. Говорил же «прими мя, пустынь, во тихое и безмолвное недро свое». Нежность женская без греха тебе будет, Максимушка, ведь ждет Эрминия одного тебя.

Он ощущал уже легкое дыхание Эрминии на своей коже, чуял ее всю, от волос до пят, обтекая чувством ее кожу, как поток водный.

– Ловко речено, девица. Разве ж можно с одного присеста возлюбить такого, как я, наполовину ежа, наполовину лешака?

– А мы, считай, душу твою любим, и нам едино, по виду зверь ты мохнатый или еж колючий. Толико запрещение заставляет душу увлекаться телом, бо тянет к себе плод запретный. Познай тело до конца, и тогда освободишься от него.

– До какого такого «конца»? Это как волк овцу познает? Значит, по-вашему, зверь хищный «освобождается», егда последнюю овечью кость догрызает и начинает блох задней лапой вычесывать?

– Лесовик ты, и сравнения все у тебя лесные. Не волку уподобляться пристало, а пламени очищающему, которое поглощает то, что обречено тлену и червию. Ты и сам верно ведаешь, что плоть – лишь загородка тонкая. Как пузырь она. Внутри нее заключена пневма, скрытое дыхание небес, именуемая каббалистами «ор пними», и вокруг нее открытое дыхание небесное, «ор макиф». Как изыдет плоть, так и сольются дыхания эти.

В руках Каролины появилось лезвие, узкое, не длинее пальца, которым она распоролла рубашку Эрминии и надрез сделала в нижней части ее живота.

Опустилась Каролина на колени, медленно выдохнула и провела языком возле проступивших капель крови, не касаясь их. Эрминия немного подалась вперед – грудью и животом.

– Una vez mas. Es mas denso solamente.²⁴

Каролина, кося глазом на Максима, неторопливо провела языком по надрезу.

– Mas densamente, se aprieta todavia. Chupa. Que el chupa!²⁵ – последнее слова рыжеволосая произнесла уже не шепотом, а властным выкриком.

– Давай, Максим, сделай шаг первый. Царь Соломон рек: «Непорочное житие есть сущая старость» и велел не чураться красоты женской, а вкушать от нее вдосталь, поскольку в ней есть свет. Так и сказал любезной деве: «Зрак лица твоего паче солнечных лучь, и вся в красоте сияешь, яко день в силе своей». Так что тебе, дурню московскому, только повторить остается за царем мудрости.

Каролина еще раз провела языком по разрезу на теле Эрминии, на этот раз с силой давя на рассеченную кожу. Рыжеволосая захрипела от боли, но мгновение спустя голос ее потончал от удовольствия.

Максим сделал шаг к Эрминии. Оттолкнул Каролину, чтобы не мешала.

– Ну-ка в сторону, без прыщавых управимся.

Одним движением руки сорвал батистовую рубаху, все еще покрывающее тело рыжеволосой ведьмы, и отшвырнул в сторону.

Рванул к низу ее широкие шпанские панталоны. Провел рукой от лба Эрминии до ее лона и почувствовал, насколько податливо ее тело.

²⁴ Еще раз. Только плотнее (исп.).

²⁵ Плотнее, еще прижмись. Высасывай. Пусть он сосет! (исп.).

И возбуждение от первой встречи, и томление старого знакомства с этим телом испытал Максим единовременно.

А не тряхнуть ли стариной? И в самом деле не был же он постником всю свою жизнь. С веселой вдовушкой из Костромы не раз играл в ручеек. И в сибирском походе не отказывался покувыркаться с остяцкими девками, желавшими узнать поближе чужого бородатого мужика. У них и обычай такой нестрогий был. Случалось и с несколькими сразу, по двое-трое в курень наведывалось.

Пальцы Максима не только сжимали плоть Эрминии, но будто бы проникали внутрь, чувствуя обреченное биение ее крови и влажное трепетание ее души. Прямо через его руку к нему исходила ее покорность, сладкая и теплая, как амврозия, дающая забвение. Он провел рукой дальше и почувствовал, как исходит дыхание ее плоти. А разорви ее плоть, и весь свет изойдет из нее в вольную глубину небес.

– *Temprano no fuiste tal lento, sal al fin del cubil*,²⁶ – слова Эрминии были похожи на дивий напев, что беспокоил Максима в лесной избушке.

Ему сейчас показалось, что ближе стал Четырехликий. Словно гидра, втягивал он силу из умирающего города, а в колесах его все ярче разгорался свет. Четырехликий смотрел на Максима, как голодный пес смотрит на хозяина, ожидая куска мяса. Четырехликий, как пес, обещал за полученный корм верную службу...

А Каролина уже стояла за спиной Эрминии, ловко прикрывая руками ее груди и лоно.

– Ты ничего не забыл, сердечный? Если ты не еж лесной, то не надобны тебе колючки.

Еж? Я вам не еж, я по правую руку от князя Хворостинина стоял у Наровы.

Максим протянул посох Каролине, и от него не укрылось, как цепко ухватились ее пальцы. Но ему было все равно. Он хотел к Эрминии – познать ее, высосать, разорвать, пожрать, впитать.

И вдруг его глаз случайно усмотрел, как по проулку некто долговязый – похоже, что англ – уводит детей. Три маленькие фигурки, покорно и даже сгорбившись, плелись вслед за черно-багровой фигурой Ровлинга навстречу пламени пожара.

Максим выхватил меч, которого не успела коснуться рука Каролины, и прыгнул из проема звонницы. Он оказался на скате церковной кровли и, толкнувшись в полупадении, перелетел на уцелевшие стропила недогоревшей купеческой горницы.

Максим услышал, как пронзительно, по-звериному, закричали женщины, оставшиеся на звоннице, и сразу заметил движение на улице. Он пробежал по стропилу и спрыгнул на сарай. Ветхая дранка, не выдержав его тела, тут же провалилась. Внизу были люди – запах немытого тела, горилки, мочи, пота. Кто-то бросился к нему. Рубя мечом и коя дагом, Максим пробил себе дорогу на улицу. И успел заметить англичанина, который уже сворачивал за угол. Перескочив через два тына, Максим срезал угол и снова увидел англичанина. Тот был уже не один. С ним несколько мужчин нездешнего вида, головы их были повязаны платками, спереди назад, как у моряков.

Прямо с тына Максим бросился на них, с лету рубанул первого по темени – клинок скользнул, отсек ухо. Максим оттолкнулся от падающего тела и вонзил меч сверху вниз – прямо в раскрытый рот другого. Рука ощутила, как лезвие прорезает мягкую плоть и утыкается в тазовые кости. Третьего врага Максим ударил дагом под нижнюю челюсть. С хрустом пробив кость, трехгранный металл ушел в мозг, прежде чем чужеземец сумел выстрелить из пистолета.

– *Kill'im*, – гаркнул Ровлинг и пальнул из ручницы. Однако Максим укрылся за падающим чужеземцем, в туловище которого и ушел горячий свинец. Затем, вырвав пистолет из руки убитого, послал пулю сам.

– На, угостись.

²⁶ Раньше ты не был таким медлительным, вылезай наконец из берлоги (исп.).

Свинцовый гостинец вошел англичанскому купцу между бровей.

– В аду доложишь об открытии земель новых.

Последний из товарищей Ровлинга покрутил тесаком с зазубренным тылом, которым удобно резать корабельные канаты, затем прорычал широкой глоткой:

– Damn you!

– Заморские вопли я уже сполна изучил. Что еще? Иноземный моряк, увидев, что предстоит схватка один на один, добавил голосом куда более мирным: – Shit.

И резво повернулся, чтобы припустить прочь. Однако не успел. Широко шагнув, Максим поспел поймать моряка за край плаща и вогнать ему меч промеж лопаток, оборвав на середине слезливый вопль: «Fuck off!».

– Теперь помолчи.

Дети были здесь, они сидели на повозке, запряженной двумя отменными кавалерийскими конями. Мальчик прочистил ухо, которое, верно, немало оглохло от стрельбы, и сказал:

– Ты вовремя, дядя Максим, от ведьм тех сбежал. Я-то вовсе не понимаю, чего мужики в них такого находят и совсем дурные становятся. Про прыщ на носу у молодухи я тебе говорил, так у старой еще и нос крючковатый. Суцая яга.

Максим запрыгнул на левого пристяжного, махнул нагайкой и крикнул детям.

– Токмо держитесь, сейчас прокачу.

Справные были лошади, да и колесные оси отлично смазаны.

За ними сразу увязалось трое конных. Стали настигать, посвистывая плетками и что-то выкрикивая на ногайском наречии.

Один их преследователей вдруг перелетел через голову коня, который завалился набок, странно дергая ногами.

– Я кувшин с маслом в них швырнул, – зазвенел торжествующим голосом Иеремия, – ибо жратвы в возке знатно много. Вот плюшки – для расстреляния, и варенье для утопления.

– У тебя кувшин вместо головы, спрячься, – заорал Максим и выстрелил назад из пистолета, сбив с коня еще одного ногайца.

Однако другой всадник поравнялся с повозкой и взмахнул саблей, чтобы срубить мальчишку.

– Еремка, ложись на постилку, не вертись, недоумок!

Но мальчишка, и не думая пригибаться, кинул в ногайца подушку. С меткостью кинул. Под острой сталью сабли лопнула подушка, пустив облако перьев в лицо всаднику. А Иеремия еще присовокупил к подушке горшок. Метательный снаряд поразил конного воина в голову, обмяк тот в седле и, не удержавшись, рухнул вниз. Разгоряченный конь, не останавливаясь, поволок по ухабам его тело, запутавшееся одной ногой в стремях.

– Дядь Максим, это у него кувшин вместо головы!

Из переулка выскочило еще двое ногайских всадников. Максим по спинам конским и дышлу перескочил на повозку, выдернул из-под соломы влажный тулуп. Один всадник пытался перескочить с коня на повозку, но взмах тулупом сбросил его вниз. Голова ногайца хрупнула под колесом, обрывая трусливый выкрик на чужом языке.

Сабля второго всадника пробила тулуп, но и Максим рванул его на себя, закручивая мех. Ногаец, так и не выпустивший саблю, завалился с седла набок. После того Максиму осталось иссесть степняка мечом и, с хрустом перерубаемых шейных позвонков, отделить бритую голову от тела.

Уже пролетела повозка лихая почти что весь Нижний посад, как путь ей перегородил конный разъезд черкасов.

Максим резко свернул в ближний переулок, едва Иеремию не выбросило на повороте.

Но и в конце того переулкa встречал их десяток конных – у некоторых были меховые накидки и шапки с перьями польских гусар, у других доломаны и войлочные магерки венгерских гайдуков.

Всадники с двух сторон подъехали к остановившейся повозке.

– А от хто в нас балуе? Навпг наші начальники отаман Мазун і пан Голеневський цікавляться,²⁷ – один из черкасов, железком пики подцепив Иеремию за шиворот, поднял его в воздух. Мальчик повис над саблей, которую держал другой черкас. – А не хочеш чи, хлопець, станцювати на рожні?

– Отпусти меня, рябая рожа, чертово копыто, мурло немытое, – отчаянно шептал мальчик, однако боялся пошевелить рукой или ногой.

Тринадцать человек, оценил Максим. Но в узком переулке всадники сильно скучились. Два черкаса упирались в заднюю грядку повозки, кони фыркали прямо в лицо детям. И с другой стороны напирало два конных ляха, их кони били головами в хомуты пристяжных. А у всадников в следующем ряду горели в руках факелы.

И, хотя каждый миг мог сделаться последним, Максим вдруг почувствовал дыхание Бога, как в самые радостные свои часы. И пусть мир нынче был страшен и уродлив, но это оказывалось одной видимостью. Тела и вещи были лишь мимолетным сплетением красок, которые разрисовывали мир земной, словно тонкий венецианский фарфор. И мгновением спустя потоки могли свистеть иначе и сделать мир земной другим, лучшим – по Божьей воле.

Максим увидел лики Четырехликого со всех сторон.

– Дострибався, москаль. Зброю кидай, інакше порубаємо, спершу хлопця, потім тебе,²⁸ – крикнул передний черкас. – Мокренько буде.

Мир земной был уже совсем плоским, сжатым двумя безднами. И свет от обеих бездн беспрепятственно проникал в каждую тварь и вещь. И те теряли твердь, плыли как краски жидкие по фарфору тонкому. И Максим уплывал за пределы своего тела, осознавая себя то в одном месте, то в другом, а то и сразу в нескольких.

Молчание чужого разума, крик души, биение чужого сердца, его воля, податливость – все это было внятно ему.

– А того ли хотите? Может, лучше еще по чарке и на боковую?

– Ти що лопотеш?

– Да так, для звука. Лови мое оружие. Меч в посохе.

Максим встал и перебросил посох ближайшему черкасу – тому, что подносил острие сабли под тельце ребенка. Черкас легко перехватил посох ровно посередине левой рукой. И в это мгновение его отрубленная кисть пала вместе с саблей. Меч, выдернутый из посоха с помощью шелкового шнурка, был уже у Максима. Издав птичий свист, булатный клинок выписал еще круг и чиркнул по шее черкаса, удерживающего мальчика на конце пики. Черкас, булькая, как открытый мех с вином, стал валиться на бок, а Иеремия упал с железка.

Максим выстрелил польскому гусару в живот и выдернул посох из правой руки черкаса.

Меч был сейчас черно-золотистым телом Четырехликого, как змей обвивал он толпу вражеских воинов, приуговоряясь разорвать ее на куски и поглотить ее плоть. Тело Четырехликого было плотным и зримым, а неприятели побледнели и уплотились, сделавшись словно тени на легкой ткани...

Перескочил Максим на левого пристяжного и, оттолкнувшись от хомута и дышла, запрыгнул на лошадь с раненым ляхом. Прикрываясь его телом, Максим вонзил меч другому гусару под кадык и ударил посохом в лицо заднего всадника. Затем соскочил с лошади и с одного маха рапек сухожилия на передних ногах коней, стоящих позади.

²⁷ А кто тут у нас балуется? Уже начальники наши отаман Мазун и пан Голеневский беспокоятся.

²⁸ Доигрался, москаль. Оружие бросай, иначе порубим, сперва мальчика, потом тебя.

Вздыбились кони, пораженные болью, сбросили с себя всадников. Максим вырвал из седельных гусарских кобур пистолеты и дал два выстрела – по черкасам и ляхам, свалив двоих воинов. После, под прикрытием порохового дыма, поразил клинком обоих ляхов, сброшенных конями. Булатный меч с одного удара рассек и ладони их, которыми они пытались прикрыться, и кости лица.

Подхватив факел, Максим шмыгнул под повозкой к черкасам. Ткнул огнем в конскую морду, затем в глаза всаднику. Выхватил у опаленного воющего черкаса карабин и выстрелил по всаднику, чья лошадь напирала сзади.

Даг – коню в шею, и прыжок из-под падающей конской туши. Меч – всаднику в живот. И черкасу ровно под руку, вознесшую саблю. Горящий факел остался под широким кафтаном всадника, отчего тот стал метаться, как масло на сковороде.

Проскочив снова под повозкой, Максим поразил гайдуцкого коня в грудь. А даг воткнулся падающему всаднику между латным подбородником и нагрудником. Гайдуцкая пика, перейдя в руку Максима, остановила рвущегося вперед гусара, войдя ему между прутьев забрала...

Максим почти не чувствовал того, что вершит его тело. Ноги не ощущали напряжения, словно скользили вниз с ледяной горки. Руки были легкими крылами ангельскими, душа растекалась по лезвиям клинка, становясь сталью острой.

Вместе с черно-золотистым булатом Максим рассекал воздух и пробивал латы, вспарывал кожу и прорезал нутряной жир, входил в плоть и плыл в крови, рассекал кости и хрящи, слыша их хруст и треск.

Лишь, когда эти тринадцать были оторваны от темной стороны и уже не превращали божий свет в злую силу, Максим, утерши вражескую кровь с лица чьим-то плащом, вспомнил о детях.

Иеремия – молодец, не только сам подлез под повозку, но и девчонок там укрыл. Правда, те взвизгнули от страха, завидев лицо Максима с размазанной по нему кровью, с оскалом еще не успокоившегося рта. Но мальчик не сплоховал. Оглядев мертвецов, кивнул одобрительно:

– А побыстрее нельзя было с прохвостами управиться? Они ж меня чуть задницей на вертел не посадили.

Отдышавшись, поднял Максим двухствольную аркебузу, выпавшую из мертвых рук гусара, бросил в повозку еще пяток пистолей и ручниц, собрал роги с порохом и берендейки с зарядцами. Залез сам. Стегнул вожжами запряженных коней, сказал «Но!» и впал в ненадолго в забытие, где был он словно камень, ничего не чувствуя, ни о чем не мысля.

Повозка проехала несколько черкасских дозоров. Заднепровские воины, предаваясь бражничеству и распутству, словно не замечали залитого кровью человека в европейском платье. Реже стало жилье – если за дома считать обгоревшие бревна и печные трубы. Максим направлял повозку к Никольским воротам, чтобы переехать через Золотуху в Нижний Посад. Там все уже подчистую выгорело и вряд ли встретится много воровского сброда – не собаки ж они, чтоб на пепелище бродить. Однако у Никольских ворот через Золотуху переправлялась гайдуцкая сотня, и Максим свернул на Зосимовскую улицу. А там к ним привязалась пара пьяных черкасов.

– Стій, дядько, підвези.

– Слышь ты, занято, – спешно отозвался Иеремия, – на товарище своем катайся.

– Стій, дядько, – уперся черкас, глядя неморгающим и красным от отблеска пожара глазом.

– Да ты ж не знаешь, куда я еду.

Максим попытался вытолкнуть прущего в повозку черкаса, но тот держался за грядку крепко:

– Уб'ю, дядько. Я тут вже двадцять москальських голів розколов як шкаралупи.²⁹

– Не хвались едучи на рать, а хвались едучи с рати.

Наступив на руку черкаса, сжимающую чекан, Максим перенял оружие и одним ударом пробил вору темя. Мертвец отпал от повозки, но другой черкас возопил истошно: «На допомогу, братики. Зрада!».³⁰ Отовсюду к повозке хлынуло множество воров – в свете факелов и пожарищ видны были выпученные, лишенные разума глаза и разъявленные, залитые пеной рты.

Максим рассек мечом голову крикуна до самой глазницы и хлестнул вожжами лошадей. За повозкой сразу увязалось бегом десятков черкасов. Несколько опустились на колени, чтобы палить из ручниц. Трое вскочило на коней. Этим Максим убил первыми, передав вожжи Иеремии.

Но изо всех переулков выскакивали пешие и конные черкасы, коих было уже не менее дюжины. Максим резко развернул повозку, выстрелил из двухствольного карабина, свалив сотника в высокой шапке и велел детям под покровом дыма порохового бежать к пролому в ближнем заборе. Рассыпав зарядцы по подстилке повозки, сыпал на нее огненное зелье из пороховых рогов. Опосле поджег там, где получилась из пороха дорожка узкая, и выскочил на ходу, несколько раз перекувыркнувшись через голову. Лошади понеслись во весь опор навстречу толпе воров.

Зелье пороховое взорвалось в повозке, когда лошади почти домчались до черкасов. Пристяжные пали, иссеченные вражеским свинцом, но горящая повозка – колеса, оглобли, грядки, доски, днища полетели через их трупы, сокрушая врагов огнем и ударом.

В дыму какой-то всадник еще налетел на Максима, целя пикой, но тот уже перемахнул через забор. Конь ударился о частокол, перебросив через него черкаса, тут Максим и перерезал ему горло.

²⁹ Убью, дядька. Я тут уже двадцать москальских голов расколол как скорлупы.

³⁰ На помощь, братцы. Измена!

5

Дети сами окликнули его из ракитника, а спрятались так, что мышку проще найти.

И Максим решил: это место неплохое, чтобы досидеть оставшийся час до рассвета. А при первых рассветных лучах зазвучали голоса из соседнего двора. Мирные голоса.

Хоть половина построек на этом дворе была попорчена пожаром, однако огонь был потушен вовремя и до горниц вообще не добрался. Лишь кое-где тлели отметенные к ограде угольки. Несмотря на сохранность хоромов, хозяин-купец собирался в дорогу, прочь из разоренного города. Во дворе стояло несколько возков и телег, на которые молодцы спешно укладывали скарб. Пятеро немцев охраняли степенного человека, получив свою мзду и надеясь получить еще в месте прибытия.

Максим пробрался поближе и неожиданно вырос перед хозяином, когда тот отошел в сторонку отлить. И первым делом зажал готовый возопить рот купчины. Затем показал пальцем, что надобно тихо-мирно переговорить.

– Уф, чего тебе, ирод? – забормотал купец, поводя туда-сюда маленькими напуганными глазками.

– Меня зовут несколько иначе. А вообще-то мне – ничего, но вот трое детишек-сирот, не возьмешь их с собой?

– Сирот жалко, но почто они мне?

– Заплачу я тебе, – Максим высыпал на ладонь фряжские камушки. – А потом и сироты тебе пригодятся. Народ на Руси повывелся, селения пусты стоят и грады необитаемы, а эти будут тебе работники.

– А где ж работники? – оживился купец, увидев камушки.

– А вот и мы, – появился Иеремия, держа за руки девочек. – Сеем, жнем, молотим, шьем, штопаем, тачаем и прядем.

– Никит, Никит, куда ты подевался? – послышался бабий голос, из-за сарая появилась тучная женщина. Похоже, что хозяйка.

– Батюшки, – вымолвила она, увидев Максима и детей. – Это кто еще взялся?

– Работники пришли, – хмыкнул купчина, – только сопли подобрать забыли.

– Да они ж от горшка два вершка.

– Хозяйка, я дельное говорю, – быстро заговорил Максим, увидев в глазах бабы жалость, – возьмите детей и камушки. Здесь, на пепелище, пропадут мальцы, сироты ведь. Они и в самом деле крепкие, к работе привычные. Этот молодчик пусть и в соплях, да при мне двух конных злодеев оприходовал.

– Ну возьмем, возьмем, – совсем удобрилась баба, – мелкие ведь, много места не займут. И пора нам отъезжать, покуда всего имения не лишились. Если бы Никита Иванович языка немецкого не ведал и не привечал купцов из Немецкой слободы гостинцами интересными, то нас, верно, и в живых сейчас, не было.

– Трогайтесь, хозяйюшка, трогайтесь, на немцев никаких гостинцев не напасешься, жадные же как свиньи.

Максим высыпал камни в руку купца, а баба повела детей к подводам. Еще и солнце не успело встать, как пяток подвод потянулся со двора. На второй сидели Иеремия, Настя, Даша, а с ними четверо хозяйских детей. «А все-таки мы их выдрали», – крикнул напоследок Иеремия, вскидывая сжатую ладошку. Пара немцев поехали впереди, важно покрикивая «Weg frei», остальные потянулись сзади.

В утреннем тумане быстро растаяла спина последнего всадника. Слегка постанывали на пронизывающем ветру распахнутые ворота. Через двор наискось пробежал тощий черкас, сжимающий в руках заполошно кудахтающую курицу, и выскочил в ворота.

Максим вышел на середину опустевшего двора.

– Ты думаешь, что освободился, – из распахнутого окна горницы донесся голос, а следом появилось лицо Каролины. – Но от грехов так просто не очистишься, сие хуже нечистот липнет.

– Это такие друзья, как вы, хуже говна липнут.

Из утреннего тумана на купеческий двор вошли трое – Эрминия Варгас и двое гайдуков, что несли на носилках тело, покрытое окровавленной скатертью. За ними послушно ступали двое коней.

Гайдуки положили носилки с телом на землю и куда-то спешно удалились.

Каролина, выйдя из окна горницы, ловко соскочила на выступающую балку подклети и спрыгнула на землю. Сорвала скатерть с носилок, открыв Ровлинга с дырой во лбу. На теле его лежал меч, прикрытый скрещением рук. Каролина опустилась на колени и лобызнула мертвеца в губы.

– Англу дохлому уже ни поцелуй твой не требуется, ни новые земли.

– Был наш Бред Вильямович занудлив и в молитве неприлежен, – сказала Каролина. – Однако в том имелась своя прелесть, святош и без Ровлинга хватало. Ты, Максим-злодей, без всякой жалости проделал дыру сквозную в голове нашего товарища, который был столь любезен сердцу нашему знанием законов и коммерции. Ты умертвил торгового гостя аки хищник в нощи, хотя имел оный муж полное право на достойный суд со стороны равных. Поправимо ли сие? Как ты думаешь, кто нынче Ровлинг? Кто или что? Человек или тление одно?

– Блуда словесного и так уж предостаточно от вас услышал, но не волнуйтесь, скоро протухнет законник ваш, – сказал Максим, ощупывая цепким взглядом окрестности. – Я думаю, что пора кинуть эту падаль на корм псам. Они порадуются.

Из тумана вновь явился тощий черкас, который только что снес со двора курицу. Завидев собрание людей, он шатнулся к стене, однако продолжил свой путь к курятнику.

– Падаль, значит, вещь мертвая. «На все создания раскинул Господь тенета и сети Свои, так что, кто хочет видеть Его, может найти Его и узнать в каждом творении». Из сих слов философа неясно, является ли падаль творением или уже нет. Что ж, проверим.

– Підійди сюди, – крикнула Каролина черкасу, который уже скрывался в дверях курятника.

– А навіщо?³¹ – слегка промедлив отозвался тот.

– А поцілую, – с серьезным лицом посулила она. Черкас, не смея послушаться, подошел к Каролине, снял шапку и поднес губы к ее лицу.

– Невже поцілуєш?³²

– Шапку те одягни, а то воші розбіжаться, ніби коні.³³ – сказала шляхетка и, повернувшись к черкасу, подняла юбки. Тот, как справный молодец, немедленно пристроился сзади.

Протерпев первые толчки удилища, Каролина полуобернулась и спросила:

– Ну як солодко тобі?³⁴

– Солодко, пані, солодше меду.³⁵

– Ну так і пора заплатити за це?³⁶

И сверкнувший между ее пальцев стилет вошел черкасу в глаз. Человек успел всхрипнуть, отшатнуться и пал на труп Ровлинга уже мертвым.

³¹ А зачем?

³² Неужто поцелуешь?

³³ Шапку-то одень, а то вши разбегутся, будто кони.

³⁴ Ну как, сладко тебе?

³⁵ Сладко, госпожа, слаще меду.

³⁶ Ну так не пора ли заплатить за это?

– Подобные вещи любят друг друга и соединяются. Вся плоть едина, – молвила Каролина, спешно поправляя одежду.

– Не слишком ли большую плату ты взяла с этого хлопца? А сколько обычно берешь? – сказал для бодрости Максим, ощущая однако холод и приближение мрака.

– *Sabbateo, oyes, habremos la carne única*,³⁷ – выкрикнула Эрминия тоскливым голосом болотной птицы.

Затряслись стены хоромов и прочих построек, огибающих двор.

Максим ощутил Касание, иное Касание, которое зло давило ему на затылок.

Он обернулся. За ним стоял Четырехликий. Окружности его были сейчас едва различимы. Весь Четырехликий напоминал отсветы света лунного на краях облаков.

– Здорово, нечисть. Это ты нынче бледный с недосыпа?

Двинулся Четырехликий к телам Ровлинга и черкаса. В четырех его окружностях завиднелись уже не человеческие лики, а будто морды звериные – ящера, пардуса, собаки и обезьяны.

– Вот и покупатель наш щедрый. Вот кому пневма освобожденная надобна, – звонким базарным голосом сказала Каролина. – Он и есть ангел наш светлый, ни капельки не падший. Такого не грех и в афедрон поцеловать.

– Идолопоклонство – грех непростительный, это и вам, римокатоликам, ведомо.

– Да какое же поклонение ты усмотрел? Да и не идол это, а что-то вроде искусного устройства, машины. Заплатил и пользуйся.

– Чем заплатил? Чужой кровью?

– А хоть бы и чужой. Потому что сказано владыкой небесным: овладевайте землей. И мы выполняем высшую заповедь, тогда как вы, московиты, дикие сарматы, карибские и гвинейские дикари годитесь лишь на то, чтобы быть пищей для этой машины.

– Неужто и папский престол не усматривает в этом греха?

– Папскому престолу нужен «римский мир», восставший из многовековой тьмы, могущественный и богатый. Поэтому благословил Римский Престол и разорение Константинополя католическим воинством, и наживу Венеции и Генуи на торговле рабами славянскими, коих скупали они у Орды, и нынешнюю торговлю рабами черными гвинейскими. Оттого-то Престол и опытам анатомическим втайне потворствовал. Знаешь, большинство пыток в подвалах святой инквизиции не только узаконено богословами из лучших университетов, но происходит при участии деятельном врачей из тех же храмов науки. А от знания анатомии наша наука и искусство высокое пошли быть. Ах, если б ты видел капеллу сикстинскую и фреску Микеланджелову «Сотворение Адама». И она без анатомии не появилась бы. Даже Господь Бог на той фреске чудесной, если приглядеться, есть образ мозга человеческого.

– Отчего ж Престол Папский затеял на чернокнижников охоту столь великую? У них тот же интерес к власти над бесами и строению тела человеческого.

– Правильно, Максим, им надобно того же. А кто первым познает устройство мира и тела, тот и будет править ими...

Заметил тут Максим, что склонился Четырехликий к трупам, покрыл их блеском металлическим.

– *Dile que es demasiado tarde, que ni un cabello cae de su cabeza, si se conecta conmigo*,³⁸ – снова заголосила Эрминия.

– Ах, какие чувства. Она уверена, ты тот самый чернокнижник Савватий, что совокуплялся с ней под столом в алхимической мастерской, знакомя с химией и анатомией любви. Да, озорник, видно, был еще тот; видом благообразный, а мыслью проказный. Из рук прелестника попала Эрминия в руки палача, который познакомил ее и с такими чудесными игрушками, как

³⁷ Шаббатай, ты слышишь, мы с тобой единая плоть (исп.).

³⁸ Скажи ему, пока не поздно, что ни один волос не упадет с головы его, если он соединится со мной (исп.).

испанский сапожок и пыточная лестница. Ее молодое, крепкое, но уже полное греха тело должен был испепелить костер, однако римская курия приняла ее под свое крыло и дала ей службу. Она продолжала грешить с тем же успехом, но уже ради дела благого, предавая открывшихся ей чернокнижников и колдунов в руки святой инквизиции. Грех ведь только грехом побежден может быть...

Растекся Четырехликий и сгустил туман, из которого свился коридор, совсем как воронка. А в дальнем конце его появился Ровлинг, такой же живой, как во Владимирской церкви и возле собора.

Захлопала Каролина в ладоши: «С возвращеньцем!» и добавила торжествующе:

– Как видишь, Максим, покупатель немедля рассчитался с нами.

– I am back, – голос Ровлинга прозвучал и сверху, и снизу. Побежал навь³⁹ на Максима, крутя мечом, да так быстро, что от клинка виднелся только круг блестящий. Лишь низко припав к земле, увернулся Максим от лезвия. А ударя вослед, обрубил мертвому англу руку, несущую меч.

– Ну, как тебе, Максим, сей Голем? Не правда ли, переплюнули мы старого бен Безалела?⁴⁰ – заметила Каролина.

– Не слишком искусен ваш беспокойник. Неужто чернокнижия на большее не хватило? Почем нынче заклинание?

– И с чего в тебе Эрминия увидела мудрого Савватия? Впрочем, и старец отощал мозгами ко старости, если решил, что Четырехликого надо кормить собственной жизнью.

Ровлинг не стал поднимать свое оружие с земли, а прыгнул на Максима, как саранча, без разгона. Не уворачивался Максим, а развалил летящее на него тело от плеча почти до пупа, срубив шесть ребер. Схватил навь свои отрубленные кости и мощным двусторонним ударом выбил меч булатный из руки Максима. А потом стал наступать, молотя ребрами, словно булавами. Как оказался Максим прижат к тыну, снова прыгнул навь. Однако успел Максим подхватить кол, выпавший из ограды, и приемом, используемым посухой⁴¹ против конницы, направил острие на врага.

Ровлинг со всега маха сел на кол, который пробил его от промежности до рассеченной грудной клетки.

– Теперь отдохни, душа грешная, скоро в ад вернешься. Ровлинг, хоть и нанизан на кол, а стал приседать, пока не оказался у его основания, после чего выдернул его из себя. Подхватил древесное орудие левой рукой и стал молотить им – легко, будто прутиком. Только «прутик» этот легко мог голову размозжить и мозги выбить.

Поймал Максим уходящую для замаха руку навья, а тело его направил в забор. Пробил тяжелый беспокойник ограду, застрял в проломе. Собрался уже вылезать обратно, но пригвоздил его Максим дагом к доске заборной. Не медля, подвесил на дужку кинжала последний пороховой зарядец и запалил его, схватив с земли жгущий уголек.

Огненное зелье разворотило навья на куски, распался он на члены, повисли потроха его на досках и прутьях ограды.

Наклонился Максим, чтобы поднять свой меч, а когда выпрямился уже, узкий клинок вошел ему сзади под лопатку.

Обернулся Максим. Перед ним стояла Каролина, а в руке у нее был стилет, по которому катилась одинокая, но крупная капля крови. Он почувствовал, как хрустят его зубы, сжатые из-за боли.

³⁹ Мертвец.

⁴⁰ Знаменитый пражский каббалист, которому молва приписывала создание Голема.

⁴¹ Пешее ополчение.

– Вот и ты узнал начала анатомии, – сказала Каролина. – А кем ты был, теперь неважно, потому что тебя уже не будет. Ненадолго переживет тебя и Московия.

Занес Максим меч, чтобы покарать девку за подлый удар. Тут Эрминия и вогнала стилет в его спину. Эта рана, казалось, не несла столько боли, как удар Каролины, но Максим вдруг перестал чутать свои ноги. Небеса повернулись, и земля врезалась в него своим могучим телом, разбив нос и губы.

Лежа ничком, Максим все-таки повернул голову.

– Cuando me trasladé a la espalda y un beso, entonces usted va a morir inmediatamente, pero no quiero,⁴² – голос Эрминии уже удалялся.

– И не надейся на вечную жизнь, москвит. Ты станешь прахом, которым питается трава и червие. Вечность – это грядущий мир, а он принадлежит нам, – сказала Каролина.

Обе всадницы выехали в утренний туман, оставив позади серый шлейф сгустившейся водяной взвеси, и три тела. Останки Ровлинга, труп черкаса и едва еще живого Максима.

Хотел Максим обратиться к Четырехликому, но закашлялся; кровь горячей волной заливала ему легкие, стесняя в них места для воздуха.

Максим заплакал, однако не от боли, которой уже не чувствовал, а от бессилия.

Огромный ворон заслонял полнеба своим крылом и тень становилась все гуще.

Савватий оставил меч, но он должен был знать, что один лишь булат не сумеет выполнить всю работу. Савватий отдал свою жизнь, чтобы добиться верности Четырехликого, и не мог не передать позова, который бы подчинил это создание.

Холодеют руки и темнеет в глазах, а ему еще надо вспомнить. Неразговорчив был Савватий, редко баловал своим словом. Только дай ему что-нибудь да принеси. Грибов редко требовал, но ягод часто. Черники, малины, голубики. Именно в такой последовательности. Черный цвет, красный, голубой. Савватий, когда хотел подношений, ударял в дверь Максиму посохом. Надо это вспомнить, хотя мысли едва подвижны.

Черника, два удара посохом. Малина – три. Голубика – один. Черный, черный, красный, красный, красный, голубой. Надо представить, как ощущается каждая ягода. Твердая голубика, водянистая малина, мягкая черника. Твердый – голубой, водянистый – красный, мягкий – черный.

Цвета и ощущения словно бы катались по пальцам Максима, пока наконец не возник ключ – он сразу его признал по красоте. Ключ открыл Четырехликого.

Четырехликий просветлел и стали различимы его лики – инок Савватий с Афона, ребе Шаббатай из Порто, дон Орландо Сеговия, марран из Гранады.

Проявилось у Четырехликого и лицо Максима Стефанова.

Был Четырехликий сейчас велик, изросшие из него власы охватывали весь мир земной и проникали даже в самую ничтожную точку. Оттого теряла всякая точка твердь, превращаясь в ручеек. И весь мир земной оборачивался переплетением текущих стихий, зыбью, пенистой волной.

Был Четырехликий сейчас также мал, лежал он в руках Максима, как хрустальный шар.

В глубине его узревал Максим, словно арабски на легкой ткани, путь Эрминии Варгас и Каролины, сопровождаемых отрядом гайдуков.

И Максиму был внятен язык Четырехликого – слова и речения, которые проявляли непроявленное.

Где только светило солнце, запуржило, и вот уже не видно не зги. На дороге, преграждая путь гайдуцкому отряду, с внезапным хрустом рухнуло дерево. Из-за кустов ракиты, с ветвей вековых тополей, из-под еловых лап, покрытых ледяной коростой, вдруг посыпались русские мужики – бородатые, с рогатинами, топорами и цепями. Успелось лишь немногим гайдукам

⁴² Если я переложу тебя на спину и поцелую, то ты умрешь сразу, а я этого не хочу (исп.).

разрядить свои ручницы и пистолы, прежде чем обрушились на них корявые орудия деревенской выделки.

Каролина была зацеплена крюком и сброшена с коня. Она успела отблагодарить свинцом крестьянского парня, который изумленно озирал ее прелести, обнажившиеся из-за задранных юбок. Но другой мужик ударом рогатины пригвоздил ее к дороге. И, брызнув кровью из-под левой груди, угомонилась Каролина навек.

Эрминия Варгас едва не вырвалась из засады, но сильный порыв ветра, смешанный с ледяной крошкой, смел ее коня с дороги, где запутался он уздой в кустах. Эрминия продралась сквозь заросли, но после встретили ее две приземистые русские бабы.

Она кричала «*Pog que, el amor mi, Sabbateo?*»,⁴³ а бабы упорно били дубинами, доколе голова ее не треснула, да и потом долго не останавливались, сокрушая кости безропотного тела. Затем стянули с убитой все платье, несколько раз сплюнули на нее и со словами «Не укрепитя корень зловердый» ушли восвояси. После подошел к Эрминии матерый волк и начал уважительно облизывать ее раны, но, не удержавшись, запустил клыки ей в живот.

А рядом с Максимом появились две женщины, покрытые белым. Они протянули к нему руки, и он принял их своими руками.

– *Vaya con Dias*, – сказала одна из них.

– Иди с Богом, Максим, – сказала другая.

Теперь было у него новое тело, а старое было лишь как лист, унесенный с ветки древа порывом осеннего ветра, как плеск на воде и след на снегу.

Земной мир истаял в свете двух бездн. Максим почувствовал крылья, прочные, как алмаз, и легкие, как дыхание. Послушны они были его воле, устремился он вперед и увидел, как волосы огненные далеко стелятся вслед за ним.

То, что казалось ослепительным сиянием, открылось новой жизнью. Поселенцами ее были ангелы с сапфировыми и серебряными ликами, ангелы, подобные овнам и тельцам, с телами звериными. А сотканные из огня хрустального серафимы с великим шумом уносились к алмазным сферам звезд.

Во дворцах яхонтовых, подобных древам, обитали ангелы по чину своему и ряду. А люди, обретшие новую плоть, жили в листве высоких древ, подобных дворцам, среди плодов медоточивых. И каждая дума, и каждое речение словесное, порожденное новыми людьми, было зримым как ангел – так что не укроется червоточина никакая. По путям поднебным, соединяющим горний мир, словно паутинка шелковая, переносились эти ангелы, соединяя все души.

Здесь было место и для царского града Вологды, была она еще краше, чем вчера, до прихода человекоядной своры, краше, чем во времена государя Иоанна Васильевича. Ее золотые купола поддерживали свод нижних небес, а река представляла потоком жидкого изумруда.

Здесь было место и для всех других градов русских, яснохрустальных и вечных.

Здесь будет его вечный дом.

⁴³ За что, любовь моя, Саббатео? (исп.).

6

– Приступить к финализации реконструированного исторического объекта. Ошибки процесса не обрабатывать, сериализацию и другие виды сохранения объекта не проводить.

Максим не понимал значения слов, но ощущал, что его хотят лишить вечности. Яхонтовые дворцы, златокупольные грады, река жидкого изумруда, хрустальный свод небес – все исчезало в темных провалах и трещинах. На месте рая осталась мутная пелена, подернутая серыми пятнами.

– Что это с ним? Он как будто съел три порции попкорна.

– Похоже на синдром глубокого вовлечения в реконструируемую реальность. Для начала поставим ему нейрошунт и подключим резервный гиппокамп. Надо бы стереть все свежие впечатления.

К Максиму быстро возвращалось понимание утраченных слов и образов; серые кляксы ярчали, яснили, приобретали форму и значение.

Здесь тоже был Четырехликий. Вернее, Многоликий. Объемные мониторы, размещенные на змееподобных кронштейнах, показывали зарегистрированные личины участников.

За диамантоидной стеной, принявшей к вечеру максимальную прозрачность, виднелись наплантовые башни, похожие на огромные деревья. Они росли, плодоносили и ветвились, исполняя миллионы программ, которых разрабатывали техноиды системы жизнедеятельности.

По нанотрубчатым паутинкам, от башни к башне, носились техноиды системы коммуникации, похожие на медноликую саранчу.

На заоблачные вершины башен карабкались техноиды системы наблюдения, обвитые лентами световодов.

Из-за лагуны, картинно раскатывающей управляемые волны, стартовал орбитальный челнок модели «херувим»; его ионные двигатели напоминали хрустальные крылья.

– Ну как, отпереживался, Максим? – спросил арбитр. – Или тебя лучше звать Савватием? А может, Иеремией? Три воплощения за один присест – не слабо!

– В этой реконструкции Максим упорно впаривал свою точку зрения, – сказал Роулинг. – Не Максим, а маньяк в собственном соку.

– Эта точка зрения вполне соответствует письменным и археологическим свидетельствам, – сообщил арбитр.

– Вологда лишь один из многих городов, пострадавших в ту беспокойную эпоху. Не понимаю вообще, зачем она понадобилась Максиму? С скромный такой город.

– Не будем излишне скромничать, – поспешил отозваться Максим. – Это один из самых крупных городов в тогдашней северной Евразии. И осенью 1612 года он получил такой нокаутирующий удар, что уже никогда не достиг своего прежнего значения. Если бы не реконструкция, то гибель этого города так бы и осталась на уровне малоприметного текстового свидетельства, осевшего в архивной базе данных короткой цепочкой битов. А теперь это терабайты и терабайты визуальной и тактильной информации. С ее помощью легко убедиться, что регион был ослаблен малым ледниковым периодом, а внешнее вмешательство было разрушительным по содержанию и зверским по форме. Что и требовалось доказать.

– Какая подкупающая наивность. Путешествие в феодализм сильно омолодило мозг нашего героя. – Каролина опустила углы рта и изобразила печаль. – Ни за что не отправляйте юного Максима в палеолит, иначе придется сильно потратиться на памперсы.

– Ирония напрасна. Мои решения сплошь и рядом зависят от насыщения моей сенсорной матрицы, – отозвался арбитр.

– Ах, простите, простите. А как насчет того, что в этой реконструкции куча натяжек? Почему среди обычных шаек, пришедших в Вологду за добычей, вдруг начинают фигурировать маги, чернокнижники, вампиры, анатомы, да еще прикрытые некой инквизиторской миссией? Это оригинальничанье на пустом месте.

– Есть авторитетные свидетельства, что обозники из войска Батория еще в Ливонскую вскрывали трупы русских ратников. Вообще изучение анатомии коренным образом изменило западное мировоззрение, хотя поначалу считалось колдовством чистой воды. Вы, кстати, разделили мою точку зрения, превратив ее из оригинальной в сбалансированную, – сказал Максим. – Ведьмочки из вас с Эрминией были те еще.

– Правда, я в самом деле ощутила вкус к отрезанию ушей, – Каролина хихикнула. – Если у кого-то остались лишние части тела, становись ко мне в очередь.

– Сегодня я не смогу вынести свое решение, – сказал арбитр слегка надтреснутым голосом старого мудрого судьи. – Мои чувственные регистры, так сказать, переполнены. И я ни в чем не уверен, даже в том, что «демон истории», этот наш Четырехликий, должен участвовать в реконструкции. До завтра, коллеги.

Объемные экраны Многоликого погасли, за исключением двух, отображающих Максима и Эрмению.

– Почему вы с Каролиной подыгрывали мне в мире реконструкции? – спросил он.

– Потому что там была жизнь. И, честно говоря, мне один хрен, с какими моральными принципами ее проживать – положительными, отрицательными или нулевыми. Тем более, что толковать мораль – это занятие победителей, а не лузеров. Я просто хотела выиграть. Вот и все.

– «Один хрен» – это, честно говоря, не из той эпохи. Но я рад, что тебе, по большому счету, «не один хрен». Как ты думаешь, арбитр всерьез испугался «демона истории»?

– Он лучше нас знает, что ни одна из наших исторических формул не работает, пока в них не введешь «демонический фактор». Без него уязвимая культура, находящаяся в неблагоприятной среде, неизменно разваливается из-за роста энтропии или становится добычей более сильной культуры. Но кто-то или что-то вытаскивает культуру из хаоса, ведет к новому устойчивому состоянию по вектору, имеющую ничтожную вероятность.

– Может, арбитра смутило то, что наш «демон истории» слишком напоминает господ Бога, по крайней мере, того божьего ангела, который показался во всей красе пророку Иезекиилю?

– Максим, да плевать мне на арбитра. Я хочу туда. С тобой хочу.

– Страдания, кровь, язвы, нарывы. Муки, пытки, раны. Это меню можно зачитывать долго. Может, достаточно экскурсии туда? И, по-скорому, обратно в наш рай.

– Я не хочу по-скорому возвращаться в наш так называемый рай. Я желаю остаться там, всерьез и надолго, пусть даже с пытками, муками и муками.

– Ну, для этого надо превратиться в киберобъект с возможностью рекурсивного вызова собственных функций. Только в этом случае ты останешься там надолго.

– Следи за моими губами, Максим. Мы и так киберобъекты. Неужели ты думаешь, что отображаемая в объемном мониторе графика – это и есть я? Это – интерфейс, за ним стоят математические модели, контроллеры, сенсорные матрицы, ассоциаторы, базы данных, почти не сопряженные с биологическим мозгом. Мы и здесь искусственные существа. На биологическом уровне мы давно трупы, трупаки, консервы вечного хранения с упакованными протеинами и антифризом вместо внутриклеточной воды. Я имею полное право...

– Да, ты имеешь полное право окончательно превратиться в киберобъект с десятком интерфейсов и сотней функций. Большого, из соображений экономии, для тесного реконструируемого мирка не предусмотрено. Пусть у гиперкомпьютера и неограниченная оперативная память, но весьма ограниченное желание возиться со всякой ерундой. Ты на самом деле хочешь стать джином в бутылке?

– Максим, не верь в эту чушь про «тесный мирок». Я проверяла загрузку гипер, списки исполняемых им задач, используемые мощности. Большую часть системного времени он отнюдь не вкалывает на нас. Вместо этого наш большой брат ведет обмен информацией с неизвестно какими углами вселенной. Причем через нестандартные порты. Гипер – это полностью открытая система, которая работает на принципах квантовой телепортации. Для нее нет физических ограничений нашего уровня.

– Я не верю, что в каком-то углу вселенной притаилось реальное прошлое. Это невероятно.

– И на это плевать. Любая жизнь – это взбрык невероятности. Здесь я не могу умереть, свихнуться, ощутить голод, радость насыщения, страх, избавление, радость открытия; я не могу здесь ничего. А там могу. Значит, там реальность. Тот, в кого не верит арбитр, никогда не давал исчезнуть жизни... Помоги мне, Максим, я ведь одна не справлюсь.

– Тебя не беспокоит то, что там мы будем врагами?

– Пускай врагами, но неразлучными.

7

Боль не чувствовалась, однако земля давила на лицо влажной мглой. И гнилость гробовых досок ощутилась. Холодная земля ползла по нему, как змей, забивалась в рот, душила.

Максим напрягся в усилии великом, и некая искра, вышедшая словно из темечка, рассекла влажную удушливую мглу. Брызжащие светом царапины единились в яркую сеть. А затем мгла, стянутая сетью, расползлась, как ветхая овчина. Со всхлипом распались гнилые доски. Словно бы поток вод подземных вынес Максима навстречу белому дню.

Сырая от тающего снега земля. Кресты, домовины. На нем рубаха белая да порты. Вкруг все тихо и внятно. Где-то отошла от древа сопревшая кора, а в норе зашевелилась хлопотливая мышь. Там снежинки упали с одного сухого листа на другой, вот подтаяла сосулька и уронила каплю. Пусть и не было видно солнечного диска, а сквозь кроны деревьев опускался свет, похожий на огромные колонны. Ударился свет в снежинки, прилипшие к бороде Максима, заставив просить ее, как царский венец.

Максим сделал первый неуверенный шаг, освобождая ноги свои от корней, и, с каждым движением набирая уверенность, пошел туда, где кончается лес, где ждал его любящий враг.

Порта, май-август 2007

Лев Вершинин Первый год республики Хроника неслучившейся кампании

*Одессе – моему городу и России – моей стране, с абсолютной верой
в то, что никакая ночь не приходит навсегда...*

1816 год. В Российской империи возникает первое тайное общество дворян-конституционалистов – «Союз благоденствия».

1818 год. «Союз благоденствия» преобразован в «Союз спасения» – более мощную и многочисленную организацию, поставившую вопрос о необходимости вооруженного восстания.

1823–1824 годы. Формируются Северное и Южное общества, активно готовящиеся к армейской революции и утверждению конституционного строя.

1825 год.

Сентябрь. К Южному обществу присоединяется общество Соединенных Славян – организация младших офицеров полукрестьянского происхождения.

19 ноября. В Таганроге скоропостижно умирает император Александр I, завещав престол младшему брату Николаю с согласия второго по старшинству, Константина.

25 ноября. Петербург извещен о смерти императора. Не найдя поддержки у гвардии и Сената, Николай Павлович присягает Константину, наместнику Царства Польского.

6 декабря. Категорическое отречение Константина от престола. Начало междоусобия.

14 декабря. Вооруженное восстание конституционалистов в Петербурге. Подавлено с помощью артиллерии.

Середина декабря. По доносам предателей и показаниям пленных северян начинаются аресты членов Южного общества.

31 декабря. Молодые офицеры – «соединенные славяне» – освобождают из-под ареста подполковника Сергея Муравьева-Апостола. Черниговский полк в селе Трилеса (Украина) выступает «за Константина и Конституцию».

1826 год.

1–2 января. Черниговский полк движется на Белую Церковь, надеясь соединиться с ахтырскими гусарами и конными артиллеристами, командиры которых состоят в Южном обществе.

3 января, раннее утро:

– Ахтырские гусары и конные артиллеристы присоединяются к восставшему полку у Ковалевки...

– Ахтырские гусары и конные артиллеристы, не поддержав черниговцев, наносят им поражение близ Ковалевки...

4 января:

– Пленные черниговцы доставлены в Белую Церковь.

– Армия конституционалистов занимает Белую Церковь.

Далее:

смотри учебники истории —?

От автора

Коротко объяснюсь.

Очевидно заранее: так не было! – воскликнет некто, прочитав повесть; так не могло быть! – добавит другой. Согласимся: так не было. Все случилось иначе, и люди, мною оживленные, не таковы были, какими описаны.

Однако! отчего ж такое мнение, что и быть не могло? История не пишется в сослагательном наклонении, да; но и то верно, что каждый миг жизни, едва лишь миновав, уже История. Каждый шаг мог быть иным и – соответственно – влек бы иные последствия.

Поэтому отвергаю злословье придир; ведь есть же в тугом узле событий, и дел, и чаяний, и судеб людских нечто, воспевающее, сказать с уверенностью: вот свершившееся; иначе же – никак!

Было. Не было. Могло ли быть? Кто ответит...

И еще. Есть в российской душе некое свойство, заставляющее ее терпеть даже и невыносимое. Но порой в не самый хмурый день накатится нечто неясное, и – взрыв! вспышка! с болью, с кровью на выдохе! уж не думая ни о следствиях, ни о смысле, ни даже и о жизни самой...

Тогда – вперед! В стенку лбом, лицом в грязь, давя, оскальзываясь, вновь вставая и вновь! – лишь бы не покориться... и уж не понять самому: зачем? для чего? а все та же мысль, и только она: не уступить!

И лишь после, когда совсем иссякнут силы, оглянешься! – а кругом пепелище, и вороний грай, и кровь стынет; тогда только, будто с похмелья проснувшись, спросишь себя: к чему?!

Но не будет ответа.

Впрочем, несообразность сия не одной лишь России свойственна...

Пролог: 1826 год, июль

Фельдъегерь спал, глядя на императора.

Плечи развернуты, руки по швам, каблуки сдвинуты, глаза выкачены – и в них абсолютная, ослепительно прозрачная пустота. Император понял это за миг до гневной вспышки, а сумев понять, осознал и то, что темные лосины – отнюдь не дань варшавской моде, а просто вычернены грязью по самый пояс.

И обмяк.

– Подпоручик!

Ни звука в ответ.

– Подпоручик!

То же: преданно сияющие пустые глаза. И ведь даже не покачнется, стервец...

– Эскадрон, марш!

Сморгнул, мгновенно подобрался, став ростом ниже, схватился за пояс, за рукоять сабли; тут же опомнился, щелкнул каблуками.

– От Его Императорского Высочества Цесаревича Константина Павловича Его Императорскому Величеству в собственные руки!

Выхватил из ташки засургученный пакет. Протянул.

Замер, теперь уже пошатываясь.

Николай Павлович, не стерпев, выхватил депешу излишне резко. Вскрыл. Цифирь... Обернувшись, передал Бенкендорфу. Уже и того хватило, что в левом верхнем углу означен алый осьмиконечный крест; так с Костыкой уговорено: ежели вести хорошие, чтоб не мучиться ожиданием, крест православный, ежели худые – папский, о двух перекладах. Доныне истинных крестов не бывало.

– Давно ль из Варшавы, подпоручик?

– Отбыл утром пятого дня, Ваше Величество! Услышанному не поверилось. Ведь это ж быстрее обычной почты фельдъегерской! – да еще и коней меняя где попадет, и тракты минуя, чтоб разездам польским в лапы не угодить, да, верно, и без роздыху вовсе... чудо!

– Как же сумел свершить такое, поручик?

– Скакал, Ваше Величество! Император усмехнулся.

– И что ж, быстро скакал?

– Не знаю. Ваше Величество! Понятное дело, где уж тут знать...

– А что в Варшаве?

– Не могу знать, Ваше Величество... однако из города был выпущен открыто, по предъявлении пропуска от Его Императорского Высочества!

Еще хотелось расспрашивать, но – усовестился. Спросил с непривычной мягкостью:

– Отдохнуть не желаешь, поручик?

– Никак нет, Ваше Величество.

– Тогда ступай, братец. Проводят тебя... – и едва успел отшатнуться: фельдъегерь, вздохнув освобожденно, устремился прямо на государя, лицом вниз; глухо, словно тряпичная кукла, ударился об пол и захрапел. По паркету из разбитого носа потекла тонкая алая струйка.

Николай Павлович обернулся.

– Быстро! Поднять, отнести в кордегардию (сам на себя досадовал: зачем не удержал?)... или нет, здесь устройте. Имя выяснить и доложить!

Спящего, всего уж – от волос до шеи – измазанного юшкой и все же улыбающегося блаженно, подняли; бережно унесли.

Император вернулся к столу. Отодвинул лишнее, оставив лишь чашку крепчайшего кофию; никогда не баловался, но вот! – пристрастился в последнее время, уж и не может без турецкого зелья.

Что же в Варшаве? – сие не давало покоя, но знал: менее получаса цифирный кабинет не провозится; Александр Христофорыч, точности ради, ввел двойную проверку расшифровки. Позже, чем следует, не придет... В который раз поблагодарил Господа, что даровал ему в труднейшие времена Бенкендорфа. Прочие – шаркуны либо бездари, хоть и преданные без лести; а которые с умом и честью, так те подозрительны излишней близостью с карбонариями квасными, хоть и не уличить потатчиков...

Вчера лишь отлегло немного от сердца: пришли вести из Руссы; успокоились поселяне. Уплатил за то отставкою и опалой графа Аракчеева; впрочем, послал графу перед убытием в имение табакерку с бриллиантовым вензелем. Русса, Русса... хоть эту занозу меньше; ныне главное – Польша и Юг. Особо – Юг! И то счастье, что в Петербурге не вышла затея искириотская.

Не вышла! – себя не сдержав, ударил кулаком по столу; фарфор звякнул, кофий плеснулся, замочив депешу рязанского губернатора. Отчетливо, словно наяву, привиделось ненавистное лицо Пестеля; «Одно лишь отречение спасет вас, гражданин Романов!» – так и сказал, мерзавец. А что, полковник? – не встать тебе с Голодая,⁴⁴ не замутить воду; и не я судил вас, не я! гражданин Романов простил враги своя, как подобает христианину; император же миловать не смел. А судил Сенат; по вашему же мнению, нет власти высшей в Империи...

Взяв замоченную депешу, перечел, держа на весу.

Отрадно! вот и в Рязани волнения попритихли; равно и в Калуге; а под Москвою еще в мае... и на Волге так и не занялось, хотя боялся, боялся. И то сказать: покоя не знал, рассылал посулы для зачтения на миру; попы перед мужиками юродствовали, угомоняли именем Господа.

Уговорили! Злодеи же южные, к чести их, пропагаторов по губерниям не послали. Впрочем, откуда у Иуд *честь*?! – побоялись, всего и делов, повторенья Пугачевщины; рассудили: поднимется чернь, так первыми их же папенькам в именьях гореть...

В дверь кашлянули.

– Государь?..

– Александр Христофорович? Прошу, прошу...

На длинноватом розовом лице Бенкендорфа – торжество, депешу несет, будто знамя при Фер-Шампенуазе. И глаза хитрые-хитрые, редкостно лукавые, непозволительно веселые.

Сердце оборвалось в предчувствии хорошего; к скверному привыкнуть успел.

– Что?!

– Его Императорское Высочество Государь Цесаревич...

– Ну же?!

– ...наместник Царства Польского Константин Пав...

– Прекратите, Бенкендорф!

Вмиг посерьезнел. Не глаза – льдинки. И вот уже подает с поклоном белый, четко исписанный лист.

Пробежал наскоро. Захлебнулся. Еще раз! нет, плывут буквы. Свернул лист трубочкой; не выпуская, встал, обошел стол, посмотрел Александру Христофоровичу в лицо.

– Та-ак... та-а-а-ак... Вот, значит, как... Помолчал.

Внезапно, будто это сейчас всего важнее, распорядился:

– Поручику, депешу доставившему, объявите мое благоволение, да табакерку пошлите с вензелем.

⁴⁴ Остров в Петербурге, место захоронения казненных декабристов.

Махнул рукой бесшабашно.

– Да двести червонцев на поправку здоровья! Подмигнул Бенкендорфу.

– Да поздравьте с чином штабс-капитанским!

Прямой остзейский нос любимца слегка сморщился в иронии.

– А может, и в гвардию заодно?

– Отнюдь, Александр Христофорыч, отнюдь, – хмыкнул государь, – Россия не простит, коль заберу такого орла из службы почтовой. Ведь как скачет... Но к делу! Присядь.

Чтоб обсудить все, достало менее получаса.

Инструкции согласовав, скорым шагом ушел Бенкендорф. Император же – вновь за кофий; волшебен напиток, хотя, говорят, в большой мере отнюдь не полезен. Ну да пусть его! один раз живем. Господь не выдаст...

Не замечая того, покачивался взад-вперед. Отучал себя издавна от сей привычки дурной, бабы Кати, покойницы, наследства, и отучил было, а тут снова вернулась.

Размышлял сосредоточенно о Польше.

Ах, Польша, Польша, боль головная, покойным Сашею завещанная! Сколь волка ни корми, а вышло – все на Рим оглядывается; лишь полыхнуло на Юге, так и Варшава заплясала; вишь ты, сейм!.. шляхта голоштанная... детронизацию⁴⁵ выдумали. Сорвалось! Но ведь могли же, могли! если б не гуляли до самого апреля, вполне б задору хватило не до Москвы, так до Питера, да еще если б с южными Иудами в союзе стакнулись...

Впрочем, нет. Сего – не могли. То и спасло.

Подсчитывал. Снова размышлял, перебирая формуляры.

...Дибича все же пока не трогать, нужен Дибич на польском кордоне, пусть под Гродно стоит, ляхам мозги прочищает; это у барона ладно выходит – пугать, не воюя.

Тогда на Юг кого? Паскевича, больше некому. Не Ермолова же. Ладно.

В Берлин и Вену не забыть нынче же благодарность отписать; к самому времени полячишек пугнули новым разделом. Опамятали сеймик.

Еще раз – вполне спокойно уж – прочел письмо.

Костьке ответить немедля!

Ухмыльнулся. Ишь, круль польский...

Пускай; главное, из избы добро не ушло. Круль так круль. А там посмотрим...

⁴⁵ Детронизация – лишение престола.

1. Генерал

... И никак не понять было: сентябрь ли это? Волглый, пронизывающий ветер, завывая, гнал низко над степью тяжелые иссиня-черные тучи, грязь чмокала под сапогами, и, насквозь пропитанная колючей водяной пылью, липла к телу омерзительно влажная ткань сорочки.

Генерал Бестужев-Рюмин, козырьком приложив ладонь ко лбу, вглядывался в полумглу, пытаясь хоть что-нибудь если и не увидеть, так на худой конец хотя б угадать там, в сизой круговерти взбаламученного ветром тумана. Свитские, негромко переговариваясь, сгрудились поодаль. Чуть ближе иных – доверенные, друзья-товарищи: Щепилло, тезка ненаглядный, Ваня Горбачевский, Ипполит, брат меньшей самого Верховного, милый друг, душа золотая; в шепоте не участвовали – следили, не махнет ли рукой командующий, подзывая.

Шутки кончились. В липкой грязи и клочьях тумана утонул Катеринослав, наскоро и, по сути, вовсе ненадежно обложенный частями Восьмой дивизии, верней сказать, тем, что от Восьмой осталось. «Больше не дам, – сказал Верховный. – Не могу, Мишель. Но ты уж расстарайся. Иначе конец». Так и есть; не дал ни плутонга⁴⁶ сверх росписи, разве что татары днесь подошли, тысячи с три, так это ж разве можно в счет принять?

А ведь и не думалось еще год назад, что едва родившись, окажется в подобной петле Республика. Задним умом ясно: иначе и выйти не могло. Крепок задний ум – а сердце никак не соглашается признать! Ведь шляхту-то отбили, да как еще отбили – с шумом, с треском; до самой Варшавы катились ляхи без огляду, без просыпу, от Сухиновской мужицкой бригады; зря, что ли, молчат ныне? – никак не зря: все не очухались после Брацлава.

И что же? Мазурки заглохли, а – глядишь! – на севере туча собралась: вот-вот Паскевич стронется, а кто воевать с ним станет? Татарва, что ли? Так из-за той татарвы донцы Николаше поддались, слышно, уж и присягу принесли, только и жди теперь – пойдут с востока шашками месить... говорил ведь Верховному: окружить тот Бахчисарай клятый, едва метушню мартовскую муллы затеяли – да и в картечь! Никак; все народы, ответил, едина суть. Сами, считай, хана сего и вырастили...

Все не беда; иное горе горше прочих: с кем в поле встать супротив Паскевича? Ладно, ахтырцы, это хорошо, они и есть ахтырцы, не выдадут... так сколько ж их осталось? Ну александрийцы еще... а более ничего ведь и нет, разве конвойная сотня. И неоткуда сикурсу⁴⁷ ждать; не снять Верховному ни с запада, ни с востока, ни с севера тем паче и единого солдата; самому справляться следует. И добро бы еще армия регулярная противустояла, так нет же – хамы, быдло разбойное, воевать не умеющее...

Отчего ж? – сам себя оборвал бешено. Еще как умеющее! Сами, вишь, набрали, ружьишки раздали, строю выучили, сами! – себе же на голову! Ах, как же гарцевал Ванька Сухинов перед своей Первой Мужичкой, как красовался папахой – освободитель! Стенька Разин со княжною! И вроде пошло, пошло: обернулся, словно в сказке, серый хам солдатом, в боях вырос, уж и ленты на знамя получила бригада за Брацлав, уж подумывали в дивизию развернуть... и что ж? Скверен Брут, из Агафона вылепленный. Где теперь Ванька Сухинов? какими ветрами косточки его по степи носит?

Хотя – и то сказать: кто ж думал, что святое дело гайдаматчиной откликнется?

...Скопища Кармалюки растеклись по степи, разбухли, змеями проползли по буеракам от самых подольских холмов и аж сюда, к самому Днепру-батюшке, и ушла Первая Мужичкая к хамскому гетьману,⁴⁸ почитай, вся; ныне не только с севера, а куда взгляд ни кинь – фронт,

⁴⁶ Плутонг – взвод.

⁴⁷ Сикурс – помощь, подкрепление.

⁴⁸ Гетьман (гетман) – казачий и гайдамацкий атаман (укр).

лютый фронт, с татарвою-вороньем вокруг. Что ж! – не Европия, не Бонапартьево воинство; пощады не жди, сам о милости забудь. И не на что пенять, коль уж располыхалась гверилья...⁴⁹

На осунувшемся, желтом (а всего лишь год тому детски-пухлом) лице дернулась колючая щетинка усов. Вспомнилось вдруг: давешние споры... ах, Гишпания! ах, Риего! маршем пройдем по Малороссии, аки они с Квиругою⁵⁰ по Андалусии шли! ах, конституция! Вот тебе и конституция: грязь жирная, да кошки дохлые в колодцах, да мор поносный в полках, да никаких рекрутов, а ко всему и татары, союзники хуже супостата... и уж неведомо: благо ли все сие для России, проклятие ли? и стоило ли начинать?

Однако – начато.

Учуяв во мгле нечто людскому глазу невидное, прынул конь; генерал качнулся в седле, выравниваясь, крепче сжал коленями мокрые бока Абрека. Выматерился. Господи Вседержитель, дай силу иль хотя бы страх отними! слышишь, Господи? – а пусть и страх остается, только рассея сомнения. Верую в Тебя, яко всеведущ Ты и знаешь, что нет уж пути иного, чем сей крестный путь у раба твоего Мишки Бестужева; так спаси, помилуй и наставь!

– ибо что было, все минуло, и осталось только это: степь в тумане, да город впереди, да скопища мужичьи вокруг, да неполных четыре тысячи солдат – больше не наскреб Верховный, да еще генеральские эполеты на подпоручицких плечах... Так пошли же, Творец, удачу во имя Отца, и Сына, и Духа Святого, чтоб образумить мужиков да известить Кармалюку; тогда только и оживет надежда: выдадут рекрутов села, и поставки дадут провиантом да фуражом; за зиму обустроим армию, будет чем Паскевича встретить. Иначе – всему крах... И петля, вроде как у Пестеля, Пал Иваныча, мир праху его... ежели раньше на вилы не взденут, как Ваньку Сухинова... И страшнейшее: мечте конец придет во веки веков!

– Мишель!

Ипполит возник с левого боку, почти бесшумно, лишь чмокнули в грязи копыта аргамака.

– Ну?

– От Туган-бея ертоул...⁵¹ замкнули город! Языка взяли; нет, говорит, там ныне Кармалюки... отошел, собирает своих у Хомутовки! Разумею так: бить должно немедленно, споро выйдет, еще и укрепиться успеем...

– Взять еще надобно.

– Куда денутся? Возьмем...

Отроческий задор Ипполита показался смешным. И то: ведь ровесники почти, а не сказать; словно бы на век состарили Мишеля Бестужева густые эполеты. Впрочем, знал и сам: Катеринослав взят будет, это без спору; гайдамакам, сколько б их там ни набралось, не устоять под картечью, ежели только Первую Мужичью Кармалюка не оставил в городке... А он не так глуп, хам, чтобы оставлять единую настоящую силу для прямой сшибки с армией, бросать ее под залпы...

Расправил плечи, подтянул шнуры чеченской, Сухиновым некогда даренной белой бурки.

– Взять нехитро. Иное ответь, Ипполит: как Кармалюку вовсе известить с нашей-то силенкой? Да и неведомо притом, сколько их там, за балкою. То-то. Разведка наша, сам знаешь... Впрочем – карту!

Тускло мигнул слегка приоткрытый Ипполитовой крылаткой язычок потайного фонаря, прошуршал навощенный пергамент. Склонился, телом прикрывая от мороси бесценный пакет. Вгляделся, до рези напрягая глаза.

– Что ж... Пусть Щепилло дает сигнал. Начнем!

⁴⁹ Малая (партизанская) война (иси.).

⁵⁰ Риего, Квируга – офицеры, вожди Испанской революции 1821–1823 годов.

⁵¹ Разведчик, вестовой (тат.).

Спустя несколько минут медленно колыхнулась земля, уходя из-под копыт Абрека; вороной присел на задние ноги, но земля вновь замерла, а над степью уже накатывался гул, прерывающийся резким нечеловечьим посвистом. Плотный ком заложил уши, хоть и не так уж близко грянула канонада.

И почти сразу же, так же внезапно, пушки стихли, а в полумраке, после краткого затишья, взорвался надрывный, неистовый, протяжно вибрирующий вопль:

– Ааа-ааа-ааа-ааа-аа!

Еще мгновение – и вот уже выметнулся из густеющей мглы, разметав туман конской грудью, вестовой от Щепилло. Осадил коня почти перед мордой Абрека, с трудом выпрямился.

– Ваше превосходительство! Дальние хутора взяты!.. захвачены обозы, пленные, два орудия... Полковник Щепилло велел доложить: преследует скопища в направлении балок, не да...

Поперхнувшись, завалился назад. Тьма, не разглядеть, сильно ли ранен, мертв ли; жаль, по голосу – мальчишка совсем. Ну, на то война. Кто-то из свитских, спешившись, склонился над телом. Бестужев плотнее стянул крылья бурки.

– Лекаря, быстро! Выживет – представить! Рев наступающих все нарастал.

– Ну-с, господа... с Богом!

Бестужев-Рюмин не торопясь вытащил из ножен кривую саблю и погнал вороного вниз, во мглу, туда, где, распалая себя утробным воем, наступала пехота.

Всю ночь в пригородных садиках не прекращались стычки. Гайдамаки, сами ли сообразив, по приказу ли гетьмана, заранее отрыли рвы, утыкали тайные ямы заостренными кольями и сопротивлялись всерьез, с яростью необыкновенной. Славно дрались; без сомнений, нашлись учителя из тех, что бились с ляхами под Брацлавом.

К утру, однако, перестрелка стихла; не стало слышно и воплей солдатиков, исподтишка подсекаемых ножами. Над городом занялось мучнисто-серое, в цвет влажной соли, утро, хоть тем радующее, что уж не сеяло сверху промозглой моросью. Ветер, наконец изменив направление, приподнял посветлевшие после дождя тучи и гнал их вспять, туда, откуда приволок намерен – на ту сторону Днепра и далее, в Тавриду. Но все же солнца не было, и небо нависало над головами опрокинутой, скверно сполоснутой чашей плохого стекла.

Увязая в глинистой жиже, Бестужев медленно шагал по узким улочкам, обходя вмятые в грязь тела павших. Странно... усталости не было, хоть и вторые сутки не спал. Потому и пошел вот так, пешком, муча свитских: город притягивал. Ранее бывал тут проездом; единственное, что запомнилось: нечего смотреть. Теперь же хотелось увидеть в подробностях; как же, первый город, им, Бестужевым, лично взятый... Так бы и впредь; тогда уж и в спину никто не посмеет попрекнуть недавними подпоручицкими эполетами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.